Константин Шепелин

Серебряного века силуэт

роман-пасьянс

Приношу благодарность

Елене, Ире, Копику и Хелл

за их неоценимый вклад в эту книгу.

Спасибо, друзья!

«За городом вырос пустынный квартал

На почве болотной и зыбкой.

Там жили поэты,- и каждый встречал

Другого надменной улыбкой…»

А. Блок

INTRO

Душный полумрак парижского кабаре. Едкий дым плывет в воздухе, будто тина в протухшей воде. Гул голосов, заливистый визгливый смех, трескучий звон бокалов, пятна лиц в полутьме. Гуляет русская эмиграция. На последние гуляет. Пир во время чумы. Пьем, чтобы заглушить тоску по навсегда потерянной Родине. В нищете, в безветрии европейского штиля пытаемся не погаснуть, сохранить дух братства и сладкий дым Отечества в наших сердцах.

Говорю вот и чувствую - чужие слова на языке. Не мои. Шаблонные, штампованные, будто строки приговора. А где ж я сам? Кто я теперь? Что сталось с гремящим русским поэтом?

Скоро уже и мой выход на сцену. В голове — ни строчки. Склонившись, сижу над блокнотом. Безысходно слюнявлю чернильный грифель. Все написанное ранее - не годится. Те стихи отцвели, будто яблони в мае, и бросили на землю перламутровый дождь своих лепестков. Душа просит о жизни нашей нынешней, о судьбе горькой — а такого нет у меня. Где ж взять? Да в самой жизни и взять.

Скоро, скоро закончит выговаривать свою боль брат-поэт. И настанет мое время, мой шанс тронуть бережливой рукой заскорузлые сердца соотечественников. А для этого надо припомнить все, что было, все, что сталось со мной и из самой своей жизни вынуть горячие строки...

PRAEDICATUM

Расчерчиваю линованный лист торопливыми штрихами. Что бы припомнить все в точности, нужно держаться строгого порядка. Вот эта строчка — мой СТИЛЬ, то, чем я руководствовался в жизни и в стихосложении, мой modus operandi.

Ниже рисую квадрат, в котором я перечислю ВЕХИ - те моменты, которые по каким либо причинам раз и навсегда определили мою судьбу. Ориентиры, влекущие меня через трясину дней.

Рядом еще один квадрат - это для КЛЮЧЕЙ, тех вещей и событий, которые однажды сыграли важную роль в моей жизни, и затем безвозвратно покинули ее. Все они должны быть помечены памятными числами - датами, адресами и иной цифирью, по которым я сумею подобрать их к нужному замку. Сюда я запишу их все без разбора, какие вспомню, а когда размотаю сплетенный вокруг них клубок дел — безжалостно вычеркну.

Внизу оставлю большую часть листа под мой будущий стих. Машинный век, царящий ныне, диктует механическое движение ума. Каждой строке я выставлю свою безжалостную оценку, а зачем сочту их все и пойму, то ли у меня получилось, чего жаждало мое сердце.

<table>
<tr><td colspan="2">Стиль:</td></tr>
<tr><td>ВЕХИ:</td><td>КЛЮЧИ:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Стих:</td></tr>
</table>

NOTA BENE

или еще раз коротко о главном

Эта книга - игра. В ней Вам выпадает играть роль поэта Серебряного века. Для того, что бы начать игру, Вам нужно нарисовать карточку вашего персонажа на бумаге так, как это показано в таблице выше.

В разделы «КЛЮЧИ» и «ВЕХИ» Вам нужно будет заносить слова с соответствующими пометками, попадающиеся по ходу повествования. В раздел «Стих» Вам нужно будет заносить строки, выделенные рукописным шрифтом, расположенные в начале некоторых глав. В конце этих строк стоят числа от 1 до 5. Сами строки несут только художественную составляющую и будут бонусом в конце прохождения, сложившись (или не сложившись) в уникальный для вашего персонажа станс. А вот цифры понадобятся в конце игры для определения успешности ваших действий, поэтому крайне желательно их фиксировать.

В следующей главе вам предстоит выбрать направленность вашего персонажа. Прочтите описания литературных течений, существовавших в тот период, и выберите для себя одно из них (СИМВОЛИСТ, АКМЕИСТ или ФУТУРИСТ). Впишите его в графу «Стиль» вашей таблицы. Внимательно прочтите описание выбранного стиля и постарайтесь соответствовать ему в поступках вашего персонажа по ходу действия игры – в этом кроется залог успеха.

ВЕХИ – это основные элементы биографии вашего героя. На некоторые главы можно перейти, только имея нужную ВЕХУ.

КЛЮЧИ – это специальные слова, которые означают, что вашему персонажу приходилось иметь дело с определенным объектом или явлением. Если где-то будет сказано, что выбранное действие можно совершить, только имея определенный КЛЮЧ, вы можете использовать этот КЛЮЧ, вычеркнув его и перейдя на номер главы, который был сообщен вам вместе с этим КЛЮЧЕМ в скобках.

В игре вам будут попадаться литературные задачки двух видов. В одних потребуется выбрать стих, наиболее соответствующий литературному стилю вашего персонажа, в других нужно будет продолжить начатое стихотворение так, как это было в первоисточнике.

SUBJECTUS

Кем я был? Какими идеями и помыслами руководствовался в жизни и на бумаге? Настала пора ответить на эти вопросы. Верность себе будет залогом успеха в моем предприятии. Сохранил ли я огонь своей мысли, выпестовал ли свое мастерство — или беспечно растратил все, что было, юля меж потоков и смыслов? Вот что мне предстоит осознать сейчас. Если стиль моего стиха будет соответствовать моему изначальному выбору - значит, я достиг успеха. И чем чище будет мой слог - тем полнее и глубже я раскрою свой первоначальный замысел.

Возможно, я был СИМВОЛИСТОМ - беспутным сыном глубокого кризиса, поразившего русскую культуру на заре века, беглецом из-под безжалостных жерновов жизни. Утратив веру в силу научного сознания, вдохновлялся ли я идеалистической философией и лелеял ли эстетизм как вершину словесного мастерства? Вчитываясь в строки Фета и Тютчева, вдыхая тяжелый воздух, скопившийся среди желтых стен Петербурга Достоевского, творил ли я свою философию, преломленную в призме поэтического сознания? Целителем в серебряных одеждах приносил ли я страдающей русской душе успокаивающий опиум, что бы там, в туманном забытье, она увидела сон про себя — яркий и таинственный, как сама мистерия жизни? (Если да, пишу в строку СТИЛЬ — СИМВОЛИСТ).

Или же я был одним из первых, отринувших сладкий дурман символа, провозгласивших материальность, предметность тематики и образов, точность слова? Брезгуя полутонами и полунамеками, отдавал ли я предпочтение описанию реальной, земной жизни? Жил ли я столь же вдумчиво и предметно, как и писал? Избегал ли пустых фантазий и переливов слов? Нырял ли я с холодной головой и горячим сердцем в самую пучину своей безжалостной эпохи, обходясь без анестезии путаной лирики и безумия кичливого авангардизма? Иными словами - стремился ли я достигнуть пика, вершины истинного совершенства в своем искусстве?

(Если да, пишу в строку СТИЛЬ - АКМЕИСТ).

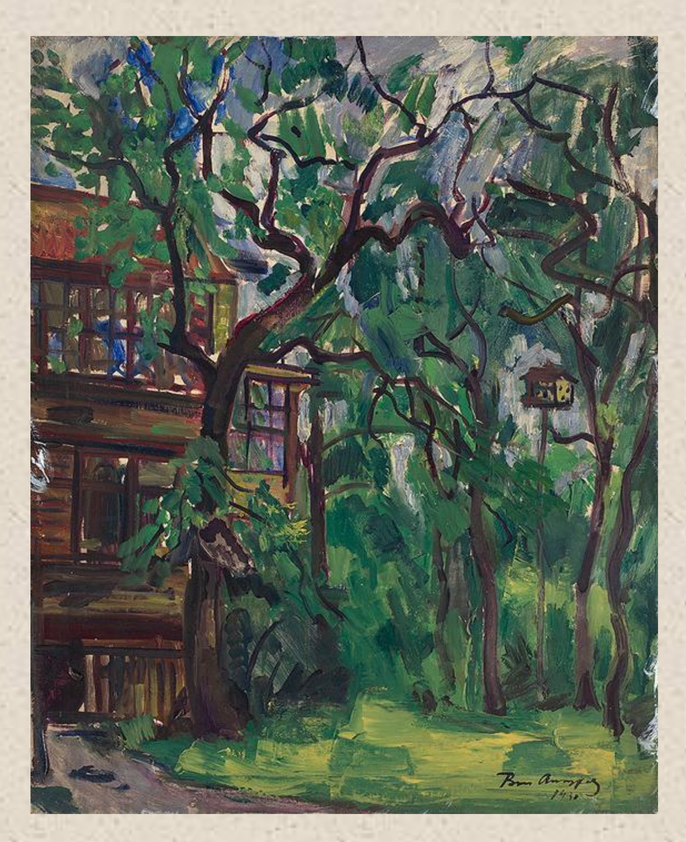
Или я был птицей совсем другого полета? Подлинным выноском своего революционного времени? Анархистом, скоморохом, балагуром и хулиганом? Тем, кто отрицает нелепые авторитеты прошлого?

Тем, кто закладывает дымящийся динамит стиха под уродливую громадину классического воззрения?

Тем, для кого слово - не символ, не образ, но звук - и в своей многомерности звука оно свободно от жестких рамок синтаксических периодов и пут логических связей?

Иначе говоря - был ли я ФУТУРИСТОМ? (Если да, пишу в строку СТИЛЬ - ФУТУРИСТ).

§1.



Мой дебют в литературном обществе Петербурга случился на даче у Коняшевича. Одно время там часто происходили поэтические собрания. Это был маленький особняк в Вознесенском, почти у самой окраины леса. Просторный сад при доме укрывался сенью вековых дубов. Фасад до самого конька кутался в буйный плющ, отчего домик смотрелся с дороги будто кукольный.

Я вошел в уютную маленькую гостиную. Обстановка там стояла оживленная. Коняшевич с гостями о чем-то спорили за фуршетом у камина. Старый камердинер с длинными седыми бакенбардами предложил мне чувствовать себя как дома и подал напитки. Я как-то раз бывал здесь и знал, что во втором этаже есть спокойная приятная комната для отдыха.

Куда я направился со своим бокалом шампанского?

Я решил не утомляться шумной беседой и поднялся во второй этаж – 37

Или же я присоединился к гостям в их обсуждении? - 92

§2.

Взгляд ее грустен и пуст, как небо у нас над головами. Веки ее тронуты краснотой, будто она много плакала.

Я спросил, не случилось ли чего. Дрожащим голосом мой ангел поведал, что в жизни у нее нет особых перемен. В этих словах сквозил холод фальшивых зеркал. Я упал на колени и умолял ее не таиться от меня, поведать все как есть. Хрустальные дорожки слез расчертили белизну ее щек. Рыдая, мой белокурый ангел призналась, что дни ее сочтены - она больна, неизлечимо больна - и врачи ничего не могут с этим поделать. Я нежно обнял ее хрупкие плечи. Я гладил пальцами ее льняные локоны и ощущал всем сердцем, как одинока она в своей безутешности.

Я не мог помыслить, как жить мне далее с сознанием того, что это сокровище, это воплощенное совершенство, что я сжимал сейчас в своих руках - лишь мимолетный призрак, гость в доме земном, который она скоро покинет и навсегда вернется в царствие небесное? Единственное, что оставалось мне, это:

Признаться ей в любви, рассказать все о своих чувствах - 96.

Пообещать посвятить ей стихи, дабы мой ангел навсегда осталась запечатленной в любовно сложенной рифме! – 188

Решить, что ни одна тоска не бывает безграничной и утешить ее, попробовать развеселить - 43

§3.



Сегодня площадь перед Казанским Собором была особенно людна. Толпа бурлила, пестрели редкие пятна лозунгов над головами. Это были еще не красные революционные транспаранты, разящие политическими требованиями народовластия и обличительными

выкриками, но уже и не осторожные черные стяги, полные монархической степенности, призывавшие не Царя-помазанника - Боже упаси, нет! - только его мирских представителей обратить внимание на беды простого народа. Сегодня это были середняковые неброские растяжки, измалеванные трафаретными белыми буквами.

Под растяжками - черные куртки, бледные лица - студенты. Где ни митинг, ни возмущение - там студент сразу сыщется. Голосистый, безрассудочный, живущий этакой молодецкой удалью, при которой и сам черт не страшен. И отчисляли их, и секли за участие в выступлениях – все было пусто. Но сегодня здесь собрались не только воинственные косматые анархисты, завсегдатаи позорной гимназической скамьи – виднелись в людском скопище и хрупкие профили курсисток, и лощеные фигуры состоятельных интеллектуалов; нынче студенты стояли не за чьи-то чужие идеалы, навязанные агитацией, за себя стояли. На днях через Думу был проведен царский указ об отправлении на солдатскую службу неблагонадежных студентов. А это значило, что будь на то воля охранки или педколлегии, под ударом мог оказаться каждый - товарищ, милый друг или даже ты сам.

Я уже давно не студент, но тогда тоже был в той толпе. Почему?

Да потому что не равнодушен к бедам студенческого братства, меня волнуют вопросы свободы и справедливости, поэтому я пришел сюда сегодня бороться за права народа - 38

Я - бесстрастный свидетель эпохи и должен видеть, как на моих глазах разворачивается история со своими взлетами и падениями, возмущениями и согласиями – 18

Если у меня есть КЛЮЧ “Агент охранки”, то я нахожусь здесь по заданию своих покровителей из третьего делопроизводства. Иду на главу, номер которой соответствует этому КЛЮЧУ.

§4.

В зале засвистели.

- Слабо́! - изрек кто-то. - Без души! Ни остроты, ни рифмы! Мимо, полагаю!

Латунский насмешливо воззрился на меня. У него уже было готово едкое четверостишие про пьяного бегемота, возомнившего себя пианистом. Его-то остроумному выпаду подхалимная публика бешено зааплодировала. Иду на 80.

§5.

- А ты не глупый малый, - сказал он, мельком показывая корочки Третьего Управления. - Нам такие кадры нужны-с. Встретимся, посидим вечером в пивной на N-ской, я тебе расскажу подробности предстоящей работы. И постарайся пить поменьше - вы, поэты, болтливые на язык во хмелю, - он пожал мне руку. В его узкой, сухонькой ладони оказалось неожиданно мощное рукопожатие, словно пальцы мои сжало стальными тисками. Пишу КЛЮЧ «Агент охранки(119)» и иду на 200.

§6.

Теперь иду на 135.

§7.

Строка: "И светлый челн скользит на буруне" – 5

Я молча прошел мимо жандарма и обратился с просьбой к нашему вагоновожатому, сунув в ладонь паренька десятирублевую ассигнацию - последнее свое сбережение. Выслушав меня, юноша молча кивнул и выбежал из вагона. Толстый жандарм степенно прохаживался по проходу, как бы проверяя мелкий порядок в купе и совсем не обращая на меня внимания. Я же присел на лавочку и стал дожидаться возвращения своего посланца. Минуты текли пронзительно долго и я ощущал волнение, нараставшее за стальной стеной моего вместилища, на перроне. В окнах то и дело появлялись любопытствующие лица, пытавшиеся разглядеть происходившее в купе сквозь влажную муть стекла. Нетерпение встречавших росло.

- Что же вы не выходите к своим почитателям? - насмешливо обратился ко мне жандарм. - Волнуются же люди, того и гляди порядок нарушать начнут.

Я ответствовал ему степенным молчанием. Внешне я сохранял полнейшее хладнокровие и безразличие, но внутри у меня скапливалось напряжение, соразмерное с давлением внутри огромного пружинного механизма.

По прошествии, казалось, целого сонма вечностей, мой порученный, наконец, вернулся и вручил мне большой благоухающий сверток, упакованный в газетную бумагу и перемотанный тонкой бечевкой. Я бережно принял сверток и вышел на платформу.

Под гулким вокзальным куполом образовалась целая заводь народу, сдерживаемого лишь беспощадными волнорезами полицейских исправников. При моем появление этот и без того неспокойный водоем вскипел, возбурлил штормом из голосов, выкриков и хлопков. Вскинутой вверх рукой я поприветствовал собравшихся. И сразу же клокотание сменилось опасным штилем. Люди ожидали моих слов. Когда я жестом обозначил свою вынужденную немоту,

послышались возмущенные возгласы, постепенно набиравшие новую силу, подобно волне цунами, которая до последнего мига скрывает свою разрушительную мощь за набегающими на берег невинными барашками.

Только сейчас я осознал, чего ждала жандармерия от моего возвращения и зачем нужно было это идиотское распоряжение о молчании. Они рассчитывали, что возмущенные молчанием своего кумира, распаленные студенты устроят погром, который тут же будет жестоко подавлен. Бунтовщики будут схвачены, а мое имя навсегда заклеймит репутация виновника кровавых беспорядков.

Я распахнул свой благоухающий сверток и перламутровая волна цветов хлынула в толпу народа, направленная моей рукой. Я бросал этим озлобленным, изголодавшимся, истосковавшимся по свободе людям нежные весенние ландыши и вместе с цветами я дарил им всю свою любовь.

Гневный клекот сменился удивленно-восхищенным гомоном, благоухающее облако цветов поплыло сквозь скопление людей, веточки соцветий передавались из рук в руки как добрые знаки. В ответ люди стали бросать к моим ногам свои принесенные пестрые букетики. А я стоял на подножке поезда, ласково улыбался, и ощущал себя в тот момент одиноким светлым челном, скользящим на буруне человеческого единодушия. С этим светлым чувством иду на 104.

§8.

И я читал ей свои стихи - самые броские, порывистые, хулиганские - какие только мог вспомнить.

- Это звучит так... по-варварски, - сказала барышня в вуали, когда я закончил. - Я знаю много людей, отвергающих устои, но эта поэзия - она рушит все прежнее до самого основания. Только кто вы - германец, перед которым склонится Рим, или гунн, чье имя сотрется историей? Думаю, это покажет время...

- А кто вы, прекрасная незнакомка? - смело спросил я.

- Меня зовут Анечка. Мы с вами еще непременно встретимся, громословный уличный поэт, если вы только не позволите себе затеряться в веках, - смех ее, прозвучавший после этих слов, был звоном тонких золотых пластинок на ветру. Очарованный этим смехом я и не заметил тот момент, когда моя собеседница уже ушла прочь по улице, смешавшись с толпой и оставив меня в одиночестве с моими растрепанными чувствами. Пишу себе ВЕХУ "Анечка" и иду на 150.

§9.

Мы были с Асеевым действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал Есенину:

- Ну что ж, к Коле я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу.

Но надо было знать характер Есенина.

- Веди меня сейчас же. Я знаю, это отсюда два шага. Ты дал мне слово.

- Лучше как-нибудь на днях.

- Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся!

Это был как бы разговор двух мальчишек. Я согласился. Есенин поправил и, сколько возможно, привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил Асеев. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, Ксения, почти сказочный персонаж не то из "Снегурочки", не то из "Садко". Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату. Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока Асеева. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что, как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором несомненно ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая - поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо, только что принесенная из

прачечной, источала свежий запах резеды - аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль - алые розы на черном фоне. Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза. Ну и, конечно, по моде того времени, над столом висела большая лампа в шелковом абажуре цвета танго.

- Какими судьбами, Сережа! - воскликнула хозяйка. Есенин не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на ты. Я был неприятно удивлен. Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов. В таком случае, при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола Есенину понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе?

По-видимому, Есенин был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с Асеевым. Теперь же оказалось, что все забыто, и его приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени как человек в доме свой.

- А где же Коля? - спросил Есенин.

- Его нет дома, но он скоро должен вернуться. Я его жду к чаю.

Есенин нахмурился: ему нужен был Асеев сию же минуту. Вынь да положь! Он не выносил промедлений, особенно если был слегка выпивши.

- Странно это,- сказал Есенин,- где же он шляется, интересно знать? Я бы на твоем месте не допускал, чтобы он где-то шлялся.

Ксения принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов. Она сыграла на рояле несколько прелюдов Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения, но на Есенина Рахманинов не произвел никакого впечатления - ему подавай Колю. Тогда Ксения предложила нам чаю.

- Спасибо, Ксюша, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю!

- Он скоро придет.
- Мы уже это слышали,- с плохо скрытым раздражением сказал Есенин. Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя, но я чувствовал, что в нем уже начал пошевеливаться злой дух скандала.

- Почему он не идет? - время от времени спрашивал он, с отвращением откусывая рябиновую пастилу. Видно, он заранее нарисовал себе картину: он приходит к Асееву, Асеев тут же ведет его к Маяковскому, Маяковский признается в своей любви к Есенину, Есенин, в свою очередь, признается в любви к поэзии Маяковского, и они оба соглашаются разделить первенство на российском Парнасе, и все это кончается апофеозом всемирной славы. Но вдруг такое глупое препятствие: хозяина нет дома, и когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где, кроме Рахманинова и чашки чая с пастилой, ни черта не добьешься.

А время шло.

Лицо Есенина делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал:

- Беда хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок.

- Ах, дорогой, возьми мой, - Ксения взяла из стопки стираного белья и подала Сергею с обаятельнейшей улыбкой воздушный, кружевной платочек. Есенин осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака.

- О нет! - почти пропел он ненатурально восторженным голосом.- Таким платочком достойны вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит.

Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло.

Внутри меня все вскипело. На эту выходку Есенина я предпочел сдержаться и не портить отношения с именитым поэтом - 282 или высказал все, что думал о нем - 288?

§10.

Строка: "Для благоденствия моей страны!" - 1

Рубить правду-матку я собрался жестко и решительно. Моему искреннему желанию радушно способствовал гуляющий в голове хмель.

Дело в том, что я давно заприметил висящий у входа портрет Его Императорского Величия Николая II. И пока швейцар отвлекся, раскланиваясь перед очередными гостями, проходящими в бельэтаж, я сдернул фронтиспис царя со стены, проделал кулаком на месте августейшего лица дыру, сунул шею в образовавшуюся прореху и вбежал обратно в зал с криками: "Теперь я государь! Кланяйтесь мне, холопы!"

Сказать, что собрание было в шоке от моей выходки - все равно что и вовсе скромно промолчать об их реакции. Я пулей носился среди студентов, вскакивал на стулья, требовал поклонения и тут же читал какие-то экспромты. Некоторые, наиболее отчаянные из присутствующих, подыграли мне, падая ниц, раболепно стукаясь лбами об пол и порываясь целовать полы моего платья с криками "Гой еси, царь-батюшка!" При всем этом они умудрялись удачно путаться в ногах у охотящихся за мной официантов, роняя тех на пол.

Продолжалась наша потеха, конечно, недолго - краем портрета я зацепил один из столов и повалился вместе с ним на паркет, после чего и был схвачен. Как я оказался у себя на квартире, избитый и вусмерть пьяный, помнилось плохо - должно быть, некий влиятельный доброхот сунул половым какие-то невообразимые деньги, что бы те дали мне возможность улизнуть из их пут, и потом мы по-черному пили с моим загадочным покровителем, отмечая славную шутку. Но, так или иначе, выходка с явным оскорблением царского величия не могла остаться без внимания. Теперь жизнь моя была на волосок от гибели. Пишу ВЕХУ "Неблагонадежный", КЛЮЧ "Эксцентрик(9)" и иду на 30.

§11.

Строка: "Рубленых

рифм

раскатить бы грозы" - 1

После ухода Гумилева и его товарищей в комнате закипело бурное обсуждение выходки поэта. Верные псы по очереди вскакивали и бодро лаяли в тональности, заданной хозяином. Их слова брызгали осуждением и презрением.

Встал и я.

- Что вы тут говорите? Гумилев небрежно обращается классичностью вашей поэзии? - спросил я. – В его строках отсутствует святой трепет перед библейским вошканьем? А я скажу так - прав Коля, на все сто прав. Рифма не должна журчать, как струя в сортире, и что б никого не обрызгать - за ободочек. Рифма должна греметь громами!

Пускай глаза метелью вспучены,

И "Незнакомка" – детский писк,

Все ж в небо ко всему приученный

Бессмысленный кривится диск.

На ходу я ловко перекрутил строки, принадлежавшие перу Блока. Из напыщенной и мрачной картины они превратились в жалкую пародию на самих себя. Я знал, куда можно поддеть сие собрание побольнее, и насмешливо смотрел в злое лицо Вячеслава Ивановича, в глаза называвшего Блока соловьем. Особую прелесть моему экспромту придавало и присутствие самого Александра Александровича - вон там, на уголочке, поэт тихо серел лицом. Знай наших, декадент!

- Еще один! – судорожно вздохнул кто-то.

- Змею пригрели! - изрек другой неподалеку, и тут же получил от меня смачную оплеуху в лоб.

Из “Башни” я вышел раз и навсегда - оборванный, в одном рукаве, с подбитым глазом, но донельзя довольный собой. Я ушел не чинно и по-офицерски, как Гумилев, я покинул эту обитель классической затхлости гордо и свирепо - как ураган. И пока я шел, меряя шагом протяженность мостовой, в лицо мне улыбались фонари городского безумия. Пишу КЛЮЧ “Эпатаж(10)” и иду на 3.

§12.

Среди моих товарищей было четверо неразлучных друзей, бывших сокурсников, талантливых писателей; четверо молодых мечтателей, полных энтузиазма. Они называли себя четырьмя валетами, четырьмя пажами Фортуны. Эта метафора принадлежала Бубновому валету, самому романтичному и утонченному среди них. “Четыре валета в колоде жизни, судьба нас мечет на стол...” любил он возвышенно декламировать при встречах с собратьями.



Однажды мои друзья задумали поехать в поэтическое турне по стране и позвали меня с собой. Я не стал отказываться от этой затеи, и, спустя какое-то время, мы все вместе уже жарились под палящим солнцем Одессы.

В то время провинциальная публика жаждала видеть столичных писателей и поэтов, сколь бы малоизвестными ни были их имена - лишь бы они значились в оглавлении какой-нибудь, пусть даже самой захудалой, книжонки. Мода на столичную культуру неизбывна для российской глубинки.

Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным переводчиком. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время Невский проспект. И говор, специфически одесский говор, с измененными ударениями, с неверным употреблением падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха.

После ошеломительного успеха в Одесской филармонии, на ступенях ее широкой белой лестницы, мы встретились с председателем городского общества любителей поэзии и его невестой Марией Денисовой. Красота этой женщины с глазами испуганной лани, этого утонченного цветка Юга, поразила каждого из нас. Я влюбился в Марию бесповоротно с первого взгляда и не мог оторвать губ от ее нежных пальцев, пахнущих камелиями, когда она подала мне руку для поцелуя в момент встречи.

Мария тоже обратила на меня особое внимание. Тогда как остальных моих спутников она встретила лишь вежливым приветствием, мне она сказала без предисловий, как будто давно ожидая возможности выразить затаенную мысль:

- Вы замечательно описали порт в своих стихах. Вы выросли на море? - волнуясь, она трепетала всем телом, судорожно сминая тонкими пальцами свой ридикюльчик, и эта ее трепетность била мне разящей стрелой в самое сердце.

- Я моря в жизни не видел, - ответил я. - Я знаю только синюю скуку Финского залива.

- Да? В таком случае вы замечательный поэт! - наши взгляды говорили значительно больше, чем могли передать слова в угрюмом присутствии мужа и при смущенном свидетельстве друзей.

- А что, если показать нашему другу море? - оценив момент, шепнул Валет Пик Валету Червей, и они, подхватив меня под руки, корректно потащили прочь, дабы прервать ситуацию, развивавшуюся в самом неловком направлении.



До отъезда из Одессы оставалось два дня. Как провел их я, несчастно влюбленный?

Я попытался найти встречи с Марией, что бы сполна рассказать ей о моих чувствах - 103

Или же я постарался забыть о любви к женщине, которая вот-вот пойдет под венец и:

либо поддался уговорам Пикого Валета посетить выступление еще одного столичного гастролера - Корнея Чуковского, дабы устроить разгром его поэтическим потугам - 112

либо поддался уговорам Трефового Валета посетить одно из злачных мест невысокой пробы, которыми так славится Одесса, что бы прикоснуться к жизни общественного дна - 122

§13.

Наша дуэль на кочергах с Латунским продолжалась. А он и впрямь не плох в драке! Жилист да проворен и, наверняка, искусен в сабельном бое! Да только кочерга не сабля, боевая сноровка с ней не товарка. Лихо Латунский крутил свое орудие. Сунулся бы я - того и гляди, в миг голову раскроило бы шальным взмахом. Попробовал бы вклиниться – выбило б с размаху мою кочергу, а потом уж и меня самого поминай как звали. Рукоять у чугунной сохи для боевого хвата совсем не предназначена.

Только не так хороша была сабельная размашка, как казалась на первый взгляд. Тянула кочерга за собой тело, уводила руку, заставляла проваливаться да открываться. Ну и изматывала сильнее. Подгадал я момент, когда Латунский маленько выдохся, да как рука у него в сторону нырнула - хлоп! - прямо по макушке ему и отвесил. Где стоял вояка, там сразу и сел. Кровь паутинкой из разбитого лба по всему лицу разбежалась, опутала впавшие щеки. Крик, гам начался, подняли вояку, понесли в дом проверять - жив ли. На меня смотрели поначалу зло, осуждающе, а потом робкими хлопками по плечу поздравили с заслуженной победой. Пишу себе КЛЮЧИ "Боец" (152) и «Скандалист(11)». Иду на 101.

§14.

В зале засвистели.

- Цитировать классика - не комильфо! - изрек кто-то. - Мимо! Своим умом бороться надо! Мы тут не архиерейское собрание - псалмы по памяти зачитывать!

Латунский насмешливо смотрел на меня. У него уже было готово едкое четверостишие про пьяного бегемота, возомнившего себя пианистом. Его-то выпаду публика-подхалимка аплодировала уж не смущаясь. Очко было записано в пользу Латунского и дело продолжилось на 80.

§15.

- Промазал! - сразу же изрек кто-то. - Гною много, а сукровицы - ни черта! Никуда не годится такой залп!

Я уже предчувствовал все злорадство, скопившееся в душе Латунского, но внешне мой визави оставался абсолютно хладнокровным и сохранял ледяное спокойствие. Пассаж его четверостишия о кузнеце, взявшемся работать каменщиком и сложившем из бесценных железных слитков простую амбарную стену, заставил мои глаза налиться кровью, а кулаки сжаться в бессильной ярости. Публика единодушно присудила ему победу в дуэли. Иду на 28.

§16.

- Лизонька, здравствуйте! - сказал я.

- Ах, это вы! - ответила она. - Я вас сразу узнала, еще издалека. Я много вспоминала вас. Вы больше не бываете у Коняшевича, и он не говорил мне о вас ничего вразумительного. А я так хотела еще раз увидеться с вами! И отчего-то мне казалось, что если именно в такую ненастную погоду я отправлюсь на прогулку в эти дикие места, то непременно встречу здесь вас.

Душа моя ликовала. Белокурый ангел помнил меня, искал встречи со мной! А я то - дурак, отшельник, как рак забился в свою раковину и не выползал оттуда, думать забыв обо всем на свете! Как я был благодарен волшебной случайности, соединившей нас в этот день и час! Иду на 2.

§17.

Строка: "Как хороши, как свежи были розы" - 3

Я догнал их на улице. Гумилев бешено шагал по тротуару, его спутница едва поспевала за ним. Николай Степанович молчал, и только желваки ходили по его вытянутому лицу. Бешеный забег остановился, только когда мы достигли извозчика. Закурили, встав на слабо освещенном пятачке.

- Вот вам и "Башня", - наконец изрек Гумилев.

- Друзья! - воскликнула его спутница. - Пришла пора сбросить с себя греческие тоги лицемерия! Ивановцы окончательно заблудились в своем символизме. Давайте учиться смотреть трезво на вещи. У нас с Гумми давно возникла идея в противовес башневскому деспотизму организовать Цех Поэтов, свободную трудовую артель, где братья будут помогать друг другу осваивать ремесло стихосложения. Общество наше будет тайным и закрытым, устроенным по обычаю масонской ложи. Вам всем, друзья, будет разослано пригласительное письмо с указанием места и времени сбора, - таинственным голосом заключила она. - В качестве знака к письму будет приложена алая роза.

От Гумилева, недавно совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, в обществе ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по крайней мере, мулатку; подходящей к нему всеми считалась только экзотическая невеста. Однако он женился против всякого ожидания на "самой обыкновенной барышне". И вот какова она была. Вряд ли у кого сейчас язык повернулся бы назвать жену Гумилева "обыкновенной". Одна ее пылкая фраза - и с лица "Гумми"

уже сошла мертвенная серость, он снова улыбчиво щурился, дуя в гильзу своей папиросы.

На этом мы простились и, заинтригованные, разошлись, а Гумилев со своей чудесной спутницей умчались на дубль-фаэтоне в свое Царское село, сгинув в ослепительном вихре уличных огней. Пишу КЛЮЧ "Цех поэтов(148)" и иду на 3.

§18.

Строка: "Моей любви, и славы, и весны!" – 3

Все горячее и лихорадочней развивались события на площади перед Казанским собором. Градоначальник прислал жандармский корпус, и полицейское оцепление схватило толпу траурной черной канвой, прижимая людей к собору.

Собравшимся было приказано разойтись - городской санкции на митинг никому не выдавалось, но кто-бы слушал этих приказов! Напряженный звон противостояния повис над площадью. И вот уже полетел первый брошенный из толпы камень. Ряды сомкнулись: мундиры против курток, наганы против зонтов и тростей, каменные морды против ехидных кричащих лиц, сверкание пуговиц на портупеях против яростного стального блеска в глазах.

А потом грянул завершающий пассаж этого реквиема по свободе. Грохот подков по мостовой ударил в уши; синяя карусель лампасов, горячее дыхание лошадей возникли будто из-под земли - появившаяся внезапно кавалькада казаков врезалась в толпу, сминая и втаптывая человеческие тела на своем пути. Протестующие в ужасе бросились в стороны, и жандармы оттеснили их с площади. Над головами гремел грозный есаульский клич: "По дво-й разойтись! В тро-е не с-бираться! Эх, посеку!" Миг - и на пустынной брусчатке остались лишь брошенные серые полотнища да чернеющие пятна тел тех несчастных, кто не сумел подняться после кавалерийского наскока.

Среди них я заметил девушку, совсем еще юную, должно быть, первокурсницу. Ее касторного цвета шляпка была отброшена в сторону и волосы карамельной волной обливали грязный булыжник возле ее головы. Широко распахнутые коричного цвета глаза неподвижно смотрели в небо.

Признаюсь, я влюбился в нее после единого взгляда в эти хрустальные глаза, в коих смешались непоколебимое мужество и отчаяние безысходности. Но мое чувство было уже лишь страстью, направленной к бренной оболочке, скинутой на мостовую. Ангел, обитавший в ней, безвозвратно ускользнул в небесную высь - это ясно читалось в белизне, тронувшей смуглую кожу ее лица. Вокруг пестрым крылом по мостовой раскинулся веер втоптанных в грязь цветов. В те годы отчаянным барышням, отправляющимся на стачку, было модно брать с собой букетики алых роз и вручать их жандармам из оцепления - пламенеющие бутоны символизировали окровавленные пулевые отверстия, которые наган полицмейстера оставит в нежной женской груди. Или же протестная демонстрация могла быть для нее местом свидания с одним из тех кавалеров, которые смущали умы кротких барышень сумасбродными любовными объявлениями, пестрившими в газетах: “Мистический анархист, ходящий над безднами, призывает из далей ту, что дерзнет с ним рука об руку пройти жизненный путь и познать все”.

Как бы то ни было, но любой романтический бред, приведший ее сюда, окончился тем, что цветок моей любви и весны лежал на мостовой, примятый тяжелыми копытами имперского скакуна, безвозвратно погубленный. И все, что мне оставалось - это лишь скорбный удел могильщика, которому было позволено увековечить ее погубленную красоту в мавзолеях своих стихов.

Иду на 12.

§19.

Когда Латунский оборвал свой стих на высокой трагической ноте, выдерживая паузу, я раньше всех преувеличенно громко зааплодировал и выступил вперед.

- Браво, браво! Неплохо! Пожалуй, это даже можно назвать рифмой. Вы решили в вашем стихосложении уподобиться авангардным живописцам и ступить на стезю примитивизма? Позвольте, Латунский, а где же высокий штиль, где же бездонная осмысленность, которую вы так мастерски воспевали в прозе?

Латунский хрипло рассмеялся. Вслед за этим, в зале послышались и другие смешки. И шепот:

- Завистник!

- Пародист!

- Задело, как его стишки разобрали, решил той же монетой отплатить!

- Мелковат!

- Осуждаете, молодой человек? - обратился ко мне Латунский, отыскав меня в толпе мутным взором. - Осуждайте, я слушаю. Да, я пристально академичен в выборе размера строфы и, в отличие от вас, не плюю на те законы, что были заложены светилами Золотого века. Этим вы хотели уязвить меня?

Продолжать спор было уже выше моих сил. Развернувшись и не говоря более ни слова, я пулей устремился к лестнице во второй этаж, прочь от этого позора. Если у меня есть КЛЮЧ "Поддержка", я могу перейти на соответствующий ему параграф. Иначе иду на 67.

§20.

В гостиную принесли стульев, и гости расселись полукругом. В центр этого импровизированного зала выступил Коняшевич и проникновенно произнес:

- Друзья! Наши регулярные поэтические встречи уже давно стали хорошей традицией, которую я думаю поддерживать и впредь. Однако хорошие традиции следует развивать, и потому я вношу следующее предложение. Давайте введем правило назначать нашим вечерам посвящения определенным предметам или событиям. Каждый из нас уникален в своем творческом искании, поэтому пусть хотя бы общая тема послужит единению нашего поэтического братства!

А поскольку мысль эта созрела у меня столь внезапно, тему сегодняшнего вечера я хочу предложить довольно простую и весьма широкую для понимания: “Трагические события 1905 года”. И, раз уж я предложил, то позвольте мне и начать.

И Коняшевич прочел внезапно пасмурно и величаво:

Он говорил умно и резко

И тусклые зрачки

Метали прямо и без блеска

Слепые огоньки.

А снизу устремлялись взоры

От многих тысяч глаз,

И он не чувствовал, что скоро

Пробьет последний час...

Это было трагическое посвящение кровавым событиям январской стачки, руководимой попом Гапоном, которая окончилась расстрелом мирной демонстрации и послужила началом тому, что называли первой русской революцией.

Вслед за выступлением хозяина последовали выходы на сцену других чтецов. Каждое стихотворение подлежало горячему обсуждению. С равной смелостью авторов ругали и хвалили, но больше было, конечно, речей похвальных. Когда поток желающих выступить иссяк, а хмель в крови еще не достиг того предела, что бы читать любые строки без разбору, Коняшевич внезапно обратился ко мне.

- Послушай, а ты ведь, вроде бы, тоже пишешь? Я помню, как тогда на Васильевском ты читал мне что-то вдохновенное про девятьсот пятый год. Будь другом, прочти!

Что ответил я ему на эту просьбу?

Согласно кивнув, я без лишних предисловий вышел на сцену - 89

Или я стал отказываться, невероятно смущенный подобным предложением - 98

Или же вообще стихов я не писал, а если что и читал - то только вследствие сильного алкогольного возлияния. Но тут я решил поразвлечь публику и попробовать что-нибудь сымпровизировать - 45

§21.

Пишу ВЕХУ "Свободный поэт".

После окончания учебы я приехал в родной N-ск на побывку и заявил отцу, что хочу быть поэтом. Негодованию отца не было предела. Он сокрушался, что спустил огромную сумму на мое обучение, а теперь его сын хочет сочинять частушки вместо того, что бы найти приличную работу и устроить семью. Отец убеждал меня найти более достойное занятие, нежели сочинительство, но я был непреклонен. Тогда отец достал из кошелки пригоршню медяков и сказал, что это последние средства, которые он мне выделяет, что больше у него ничего нет, и я могу не рассчитывать на

дальнейшую помощь с его стороны. Он швырнул мне эти деньги на пол, и я, собирая под столом блестящие пятаки, впервые испытал праведную гордость за претерпевание гонений на мой поэтический промысел, смешанную со жгучим унижением. Я мнил себя отвергнутым гением, мужественно преодолевающим удары судьбы.

Разумеется, этих нищенских средств мне едва хватило, что бы свести концы с концами и речи не было о том, что бы попытаться самостоятельно напечатать собственные сочинения. Подходящий издатель все никак не подворачивался - в ту пору мало кто гонялся за новыми именами и каждый стремился все больше печатать устоявшихся и прославленных поэтов. И мне приходилось заниматься долгими, но бесплотными поисками. Иду на 200.

§22.

- За деньги я читать пока не берусь, - строя из себя дурачка, сказал я. - Но если вы с близкими и друзьями просто захотите послушать мое творчество, я с удовольствием приму ваше приглашение.

Взгляд жидких прозрачных глаз моего собеседника стал еще убийственнее.

- Я не это имел в виду, - сухо бросил он. - Впрочем-с, не важно. Я неожиданно вспомнил об одном неотложном-с деле, - в его прощании явственно звучал подтекст угрозы: “Не хотим сотрудничать? Ладно, мы вам это, молодой человек, припомним. Раз не идете на сделку, может быть, у самого за душой не все гладко? Неблагонадежный, стало быть?” Иду на 200.

§23.

Не смея нарушить покой прекрасного создания, я тихонько поднялся в мансарду и прошел к широкому занавешенному окну. Там я стоял в молчании, наблюдая сквозь просвет в шторах, как трепещут на ветру желтеющие листья. Осень уже тронула их своим дыханием, и они зажглись, будто веселые фонарики, развешанные на ветвях.

Я не смел допустить и неловкого взгляда в сторону прикорнувшего на софе ангела. Чем дольше тянулось молчание, тем сложнее становилось его нарушить. Барышня с книгой тоже не проронила ни единого слова. Но тишина не казалась мне тягостной. Мне чудилась в ней осмысленная законченность, дополняющая общий пейзаж. И облака в кристально-синем небе, и пламенеющие деревья, и темная веранда, и солнце, и мы вместе с белоснежным ангелом, возлежащим на софе, слились в некой единой гармонии сосуществования. Я ощущал незримую связь между нами – как будто девушка, не открываясь от книги, смеялась, и шутила, и говорила со мной, и слова эти, не облеченные в форму звука, были во сто крат чище слов обыденной речи и предназначались лишь для нас двоих.

В самый неподходящий момент моих размышлений на лестнице появилась голова Коняшевича. Он окликнул меня по имени.

- Вот ты где! Идем скорее вниз! Там сейчас стихи читать будут!

Чуткая греза единения рушится, расколотая его грубыми словами, и я, оглушенный, в забытье, бреду к лестнице, словно сомнамбула. Пишу КЛЮЧ «Незнакомка(86)» и иду на 20.

§24.

Подойдя к столу и взяв с блюда рыбный бутерброд, я без лишней суеты дождался кульминационной точки в декламации Латунского, пожевывая листик салата с сэндвича и заботливо приберегая всю остальную начинку. В момент, когда чтец патетически вскинул руки и, закатив глаза, взял драматическую паузу, кусок хлеба с обильной снедью прилетел ему прямо в лоб. На секунду лицо его выразило презабавнейшую форму недоумения, будто он позабыл что-то важное. А когда Латунский открыл глаза и увидел свисающую ему прямо на нос ветвь укропа, то взвыл почище паровозного гудка.

Что тут началось! Меня схватили, скрутили, пару раз чувствительно двинули по ребрам и взялись чистить Латунскому его мину полотенцем. Хотели сначала звать жандармов, но потом просто вытолкали меня за ворота. В процедуре сопровождения меня до ворот пиджак мой случайным образом изорвался в двух местах, а над глазом всплыл большой шишак, но и я оказался не промах –

здорово разбил себе костяшки на правой руке и отбил локоть о чью-то челюсть. В общем, вечер тот закончился почти без происшествий. Только смотрели мне, уходящему прочь, в спину синие глаза огородов. Пишу КЛЮЧ «Скандалист(11)» и иду на 101.

§25.

Посовещавшись, Гумилев с Городецким дали мне задание сложить экспромтом стих в особой форме. В ту пору среди мастеров слова было принято обмениваться подобными вызовами. Такой вызов был брошен и мне. Тема была задана шуточная, но с остринкой. “Цех ест Академию”. Поразмыслив, я начал так:

Цари стиха собралися во Цех:

Ездок известный Дмитрий Караваев,

Ходок заклятый, ярый враг трамваев,

Калош презритель, зрящий в них помех

У для ходьбы: то не Борис Бугаев,

Шаманов враг, - а тот, чье имя всех

Арабов устрашает, - кто до "Вех"

Еще и не касался, - шалопаев

То яростный гонитель, Гумилев...

А как закончил я сие легкомысленное творение? Справился ли я со своей миссией?

Вот приходящие мне на память возможные варианты окончания, крутившиеся у меня тогда в голове:

Бывали там свое и Пяст и Блок

Положенный вычесывая шерсти клок

У стража дома - верного Мурлыки

Разыгрывая золотые пики

Чеканных и звучащих слов. - 138

Или

Затея их была весьма проста

Чтобы на новый лад звуча, уста

Слагая и исторгнув зычный зов

Разбили в прах томительность видений

Чтоб не мелькало больше Академий. - 145.

Или

Я вам скажу, кто избран синдик третий:

Сережа Городецкий то. Заметь - и

Тревожный стих приготовляй, - не рев,

Воспеть того иль ту, чье имя славно,

А начала писать совсем недавно. - 149

§26.

Теперь иду на 100.

§27.

Строка: "Где раньше был простор речной волны" - 5

Где раньше был простор речной волны в стихосложении, там ныне замерли тугие оковы льда. Уже нет той романтической легкости в стихах, никому не нужен образ Прекрасной Дамы, одно написание наименования которой с заглавных букв могло вызвать серьезнейшую тяжбу с духовной цензурой по поводу публикации стиха. Настало время, когда в почете лишь бунтари и революционеры, и коли ты не из их числа, никогда не сыскать тебе общественной признательности.

- У меня кое-что созрело, - обратился я к присутствующим. - Позвольте вам представить, - я забрался на стул, и, возвышаясь над головами слушателей, начал говорить просто и с чувством. Для этого стиха не требовалось излишней прочувствованности строфы и эпатажа - суть строк рубила по душам острее любого артистизма. Значительный акцент требовался лишь в конце.

То было в Турции, где совесть - вещь пустая.

Там царствует кулак, нагайка, ятаган,

Два-три нуля, четыре негодяя

И глупый маленький султан...

Публика рукоплескала. Так остро и прямо еще никто не осмеливался выразить общую картину царившего ныне деспотизма и скудоумия во власти. Овация была столь единодушная, что официанты лишь глупо стояли со скривившимися лицами, ожидая, пока она утихнет, потому что совершенно не ясно было кого унимать, а унять всех разом было невозможно.

Без скромности сказать, в тот вечер я стал героем Петербурга. Если у меня нет ВЕХИ "Слава", пишу ее. Но слава имела и обратную

сторону. Подобная откровенность грозила мне неминуемой опалой. Пишу так же ВЕХУ "Неблагонадежный" и иду на 30.

§28.

Смутно помню, что было потом. Кажется, мы сидели с Коняшевичем в буфете за бутылкой коньяка.

- Не переживай, брат, бывает, - говорил мне хозяин дома. - Публика - она такая... дура! Сегодня плюет в лицо и толкает в выгребную яму, а завтра улыбается тебе и носит на руках... Да и ты подрастешь, возмужаешь, коли уж охота тебе будет во всем этом вертеться. Научишься на их острое слово десять своих вставлять.

Так и закончился тот вечер, проведенный в пьяной печали и разговорах за жизнь. Если у меня есть ВЕХА "Лизонька", я мог попробовать расспросить о ней подробнее у Коняшевича - 33, а иначе иду на 101.

§29.

- Именно! - воскликнул Гумилев. - Совершенно верно! Друг мой, вы зрите в самый корень. Мы не были знакомы ранее - позвольте услышать ваше имя?

И тут же со всех сторон послышалось:

- Глубокое понимание вопроса, однако.

- Да вы превосходно чувствуете современное направление поэтической мысли! А сами пишите?

- Не бесспорно, но не лишено резона. Однако позвольте вам возразить...

Обсуждение закрутилось с новой силой. Теперь на меня смотрели как на равного. Мы спорили до хрипоты, щедро смачивая глотки превосходным вином из запасов хозяина. Когда публика совсем уже разогрелась, сообща было решено оставить досужие споры и перейти к чтению стихов. Пишу КЛЮЧ "Знаток поэзии (60)" и иду 20.

§30.

Рано утром ко мне в квартиру ворвался мой друг - наверное, единственный настоящий и самый преданный из всех, что когда-либо были у меня. Он доложил, что на столе в Третьем Департаменте уже лежит постановление на мой арест, и мне нужно срочно бежать из страны. Но бегство за границу требовало немалых средств, и при том приложенных немедленно, безо всякого отлагательства. Я мог провернуть этот фокус, только если у меня нет ВЕХи "Голяк".

Если я согласен был уехать и у меня имелись на это финансы, иду на 93, иначе иду на 39.

§31.

Строка: "Ручьев рыданья унимали до весны" - 5

Анненский являлся директором Восьмой Петербургской гимназии, той самой, в которой я проходил свое обучение. Только мартовские каникулы отделили меня от известия о его скорой трагической кончине. Расспросив встретившихся мне в толпе друзей-гимназистов, я узнал, что директора хватил удар, когда он ожидал состава, стоя на ступенях Царско-Сельского вокзала. Обычно мы видели в нашем наставнике только высокую худую фигуру в вицмундире, которая иногда грозила нам длинным белым пальцем, а в общем, очень далеко держалась от нас и наших дел.

Анненский был рьяный защитник древних языков и высоко держал знамя классицизма в своей гимназии. При нем наш рекреационный зал был весь расписан древнегреческими фресками, и гимназисты разыгрывали на праздниках пьесы Софокла и Еврипида на греческом языке, притом в античных костюмах, строго выдержанных в стиле эпохи.

Декаданс учителя, его тонкое понимание призрачной вещности открылось нам совсем недавно. О его поэтических опытах в ту пору решительно ничего не было известно. Убежденный защитник классицизма не имел нравственного права бросить знамя своего учения в такой момент, когда оно со всех сторон было окружено злыми неприятелями. И мы не ведали, насколько же близка, сколь же родственна была нам, студиозусам, его душа! «Но милы мне на розовом стекле алмазные и плачущие горы, букеты роз увядших на столе и пламени вечернего узоры…»

Мне хотелось лить слезы, но я изо всех сил старался держать себя в руках. Утешением мне являлось светлое чувство преемственности, причастия к наследию этого великого человека. Как будто своим случайным приглашением на это скорбное прощание Иннокентий Федорович благословил меня писать дальше и продолжать в своем творчестве его могучую и проникновенную традицию. Иду на 150.

§32.

Строка: "Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране..." – 3

Я вышел на перрон, молча поприветствовав жестом собравшихся. Толпа гудела, требуя слова. Я вглядывался в лица, пытаясь отыскать близких друзей. Группа встречающих представляла собой крайне пестрое зрелище. Они выступали как-бы смешением двух противоположностей, присутствовавших в народе. Тонкие, выразительные черты лиц интеллигентов были в равной пропорции разбавлены кустарными лицами бунтарей. И черные бороды смутьянов-революционеров будто в траурные рамки окаймляли задумчивые, спокойные профили мыслителей. Еще не зная грядущей трагедии октябрьских событий, еще склоняясь под гнетом

самодержавия, уже тогда я как будто чувствовал всю суть грядущих в скором времени перемен - неизбежную гибель группы первых, и неумолимое торжество второго типа людей, присутствовавших на перроне. Вернувшись в Россию, я видел, что никакой, в сущности, России уже нет, и только призрак великой страны в лице толстого жандарма маячил за моей спиной, грозя неминуемой карой, в случае если я посмею разверзнуть свои бессильные уста.

В калейдоскопе лиц я ухватил лицо своего старого друга, единственного и самого преданного, и умолил его вывести меня из этого Ада. В окружении нескольких наших товарищей мы прорвались к выходу с платформы. Я объяснял толпящимся вокруг людям, что у меня нет заготовленного слова, что, в сущности, мне нечего им сказать. И видел, как недоумение на их лицах сменялось масками презрения. Конечно, я мог попросить своего друга объявить, что мне запрещено выступить с речью как политическому диссиденту, но тогда бы это известие вызвало бы недовольство и, как следствие - возмущения и погромы, сопроводимые неизбежными человеческими жертвами. И потому я шел, соблюдая унизительную тишину и терпя осуждающие розги язвительных взглядов тех, кого я задумал спасти своим молчанием. Иду на 104.

§33.

- Лизонька? Какая такая Лизонька? - рассмеялся Коняшевич. - Привиделось тебе, брат, что ли? Да в каком же это втором этаже ты ее встретил? Там в пыли ползать кроме тебя, затворника, ни у кого охоты нет. Призрака ты увидал, что ли? Жениться тебе, брат, надобно, вот что я думаю, тогда и перестанут всякие барышни по углам мерещиться!

Исполненный недоумения, я отправился на 101.

§34.

Строка: «Ручьев рыданья унимали до весны» - 5

- Поэт, слыхали? - голь кабацкая пересмешничала, перемигивалась. - А чем докажешь?

Пиво расплескалось из жбана, стукнутого мною дном о стойку. Я вскочил с ногами на столешницу, порвал на горле ворот рубахи - так что во все стороны брызнули пуговицы - и яростно, но в тоже время расчетливо холодно, будто душегубец, орудующий ножом, продекламировал: «Улица, улица… Тени беззвучно спешащих тело продать, и забвенье купить, и опять погрузиться в сонное озеро города — зимнего холода... Спите. Забудьте слова лучезарных...»

Под одобрительный гул мне налили еще, и я снова бросал в них свои рифмы — широко, проникновенно, навзрыд. До самого утра я жарил спирт с бандюганами и читал стихи их продажным девкам. Душа моя, распаленная, постепенно охватилась искристой коркой и последнее, что я запомнил — осознание: завтра я снова сумею сесть и писать — если только доживу до этого хмельного завтра. Пишу себе КЛЮЧ "Мастер слова(25)" и иду на 150.

§35.

- Но позвольте, - возразил я. - В чем вы видите наивность моего стиха? Он прямолинеен и лишен пустых витиеватостей - но неужели вы уже не способны воспринимать поэзию без всех этих нагромождений сусальных украшательств?

- То, что вы называете пустыми витиеватостями, - возразил мне Латунский, - я называю всего лишь хорошо подобранным слогом. Без этой досадной, на ваш взгляд, мелочи я действительно не могу воспринимать всерьез любые стихи, потому что такое попустительство губит саму суть стихосложения. Если вы вдруг ненароком овладеете мастерством классического слога, попробуйте переписать ваши стишки еще на раз и продемонстрировать нам их заново. Но, умоляю вас, до тех пор остепенитесь – пожалейте терпимость ваших возможных слушателей.

Среди собравшихся послышались одобрительные смешки.

Продолжать спор было уже выше моих сил. Развернувшись и не говоря более ни слова, я пулей устремился к лестнице во второй этаж, прочь от этого позора. Если у меня есть КЛЮЧ "Поддержка",

я могу перейти на соответствующий ему параграф. Иначе иду на 67.

§36.



Отпустив извозчика на Невском, я ступил на мостовую нежно любимого мною города, не тронутого еще язвой Революции. Открывающийся моему взору пейзаж Пушкин блестяще описывал в «Евгении Онегине»: «...возок несется сквозь ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах". Таков он был — мой Петербург, открывающийся с фронтона истории.

Ступая же вглубь его кривых улочек и узких колодезных дворов, я видел град Петров с иной стороны, которую не могла запечатлеть ни одна хроника, пусть даже самая достоверная. Я видел его грязным и оборванным, нищим и голодным, пьяным и больным, хохочущим и рыдающим — то есть живым: дышащим и настоящим.

Вот у меня на глазах малютка в насквозь прохудившемся платьице кормила кутенка хлебной крошкой с ладошки — сама то девчушка, наверное, уже давно и позабыла вкус мясного яства. Вот на перекрестке лежал прохожий, насмерть задавленный телегой. И над ним, как стая падальщиков, сгрудились околоточники в черных шинелях, похожие издали на огромных птиц. На поребрике сидел безногий солдат, просивший подаяния, и ему в картуз сыпал монеты одноногий офицер на костыле и при мундире, усеянном орденами — может быть, полученными именно за те атаки, в которые он вел этого самого солдата.

Всем им невозможно было помочь — даже сочувствия и сопереживания одной крохотной человеческой души на всех не хватало. Оставалось лишь смотреть — и запоминать, позволяя отпечатываться в душе переплетению этих трагичных судеб.

По очередной улице, на которую я вышел, двигалась похоронная процессия — скорбные лица, куцые букетики в руках, размеренный поток чопорных цилиндров и траурных шалей.

По другую сторону улицы, у ажурного чугуна канала, я заприметил одинокую женскую фигуру — барышню в узком корсете, с вуалью на шляпке и отвратительным желтым букетиком в руках. Она не следовала вместе с процессией, а просто стояла на месте, будто ожидая кого-то. Я наблюдал ее силуэт в промежутках между идущими за гробом людьми. Толпа двигалась бесконечным потоком — должно быть, провожали какую-то знаменитость. Я ощущал в незнакомке какую-то родственную близость — подобно мне, она являлась сторонним наблюдателем в круговерти бурлящей вокруг жизни, выпадала из обывательской толпы так же, как я.

Но память может мне изменить сейчас, спустя годы, и важно не предаться досужему вымыслу, не погрузиться в фантазии об этом мнимом единении, а детально припомнить, что случилось со мной дальше на той прогулке?

Со всех этих мрачных размышлений и наблюдений мне было совсем не до романтики — я махнул рукой и решил пойти напиться в кабак - 56.

Незнакомка по другую сторону улицы заинтриговала меня, поэтому я решил подойти к ней — 40

Или же меня снедало любопытство - кого же там хоронят? И я присоединился к траурной процессии - 144

§37.

В последнее время меня изрядно мучила мигрень, поэтому, избегая шумного кутежа, я решил дождаться окончания фуршета во втором этаже дачи. Узкая лестница привела меня в полутемную мансарду, пахнущую пылью и старой древесиной. Просторное окно комнаты было зашторено, и оттого все предметы вокруг несли на себе печать пепельно-серого оттенка. Я будто ступил в призрачное царствие Морфея, где даже краски уснули и перестали придавать цвета вещам, которым они принадлежали. Мебель была закинута глухими балдахинами, в углу угрюмо молчали напольные ходики с маятником.

И посреди этой мертвенной пустыни я впервые узрел ее - белокурого ангела в сияющих одеждах. Она лежала на софе подле окна, и лучи бледного осеннего солнца, пробивающиеся сквозь щель меж шторами, выхватывали ее фигуру из мрака, позволяя скромному кремовому платьицу блистать первозданным чистейшим светом подобно дорогой парче. Она читала – в руках у нее был томик стихов. Не окончив подъем, я замер, боясь даже вздохом потревожить ее покой. Но красавица с книгой будто не замечала меня.



И тогда я решил

Обратиться к ней с почтительным приветом – 52

молча присоединиться к ее уединению, не привлекая к себе внимания? – 23

или в моем сердце вспыхнуло горячее желание впиться своими устами в ее уста, и я решил осуществить этот порыв, во что бы то ни стало? - 44

§38.

Все горячее и лихорадочней развивались события на площади перед Казанским собором. Градоначальник прислал жандармский корпус, и полицейское оцепление схватило толпу траурной черной канвой, прижимая людей к собору.

Собравшимся было приказано разойтись - городской санкции на митинг никому не выдавалось, но кто-бы слушал этих приказов! Напряженный звон противостояния повис над площадью. И вот уже полетел первый брошенный из толпы камень. Ряды сомкнулись: мундиры против курток, наганы против зонтов и тростей, каменные морды против ехидных кричащих лиц, сверкание пуговиц на портупеях против яростного стального блеска в глазах.

А потом грянул завершающий пассаж этого реквиема по свободе. Грохот подков по мостовой ударил в уши; синяя карусель лампасов, горячее дыхание лошадей возникли будто из-под земли - появившаяся внезапно кавалькада казаков врезалась в толпу, сминая и втаптывая человеческие тела на своем пути. Протестующие в ужасе бросились в стороны, и жандармы оттеснили их с площади. Над головами гремел грозный есаульский клич: “По дво-й разойтись! В тро-е не с-бираться! Эх, посеку!” Миг - и на пустынной брусчатке остались лишь брошенные серые полотнища да чернеющие пятна тел тех несчастных, кто не сумел подняться после кавалерийского наскока.

Мы разошлись, однако вечером того же дня большая часть присутствовавших на митинге собралась в ресторане на Мясницкой - горячо обсуждали произошедшие события, гадали, чего ждать дальше, как всегда ругали власть. После разгона демонстрации я в отчаянии бродил по городу и набросал за это время острейший стих, насмешливо и зло разъясняющий реакцию властей на народные выступления. Во мне горело желание немедленно зачесть его окружающим, но я прекрасно понимал, что среди присутствующих имелось немало ушей и глаз царской охранки.

Отважился ли я прочесть свой стих - 27 или я оставил его до более спокойных времен, для печати в анонимных прокламациях, открывающих глаза на истинную суть царской власти, через которые можно было сказать правду тихо и безопасно? - 118. Или же мне вовсе было море по колено и гнев мой кипел так яростно, что я не ограничился одним лишь стихом?

Если у меня есть КЛЮЧ “Эпатаж”, я могу перейти на соответствующую ему главу.

§39.

В начале восьми часов утра меня арестовали. Привезли на Гороховую. Там, в канцелярии, я долго сидел, чего-то ожидая, совместно с двумя евреями. Потом отправили нас в другое помещение, где происходил обыск. Обыскивал пожилой солдат. Сначала он перетряхнул евреев, делал это весьма тщательно, можно сказать, с пристрастием: выворачивал все карманы, снимал обувь; отобрал у них ножи, часы, большой кусок хлеба.

Глядя на всю эту процедуру, и я развязал свой маленький узелок с небольшим кусочком хлеба и готовился его уже отдать. Но обыска у меня, к моему радостному удивлению, совершенно не произвели. У меня только спросили: нет ли у меня ножа или серебряных вещей; и после моего ответа, что кроме вот этого узелка с куском хлеба у меня ничего нет, меня оставили в покое. И мало этого: вдруг солдат передал мне хлеб, отобранный у евреев. Я в смущении отказался его взять и услышал: "Возьми, паренек - в тюрьме все пригодится; а эти люди богатые, сытые..." И с добродушной улыбкой солдат отдал его мне.

К вечеру с большой партией отправили меня в Кресты. Там уже настоящая тюрьма, и отношение к арестованным самое строгое, внушительное. Посадили меня в четвертом этаже вдвоем с одним рабочим из партии трудовиков: рядом и напротив в камерах рассадили других партийных людей. В камерах не было в то время ни умывальника, ни "параши"; поэтому по утрам отпирали камеры минут на тридцать-пятьдесят; все бежали в общую уборную, – кстати сказать, очень грязную и вонючую, расположенную как раз напротив моей камеры.

В эти-то минуты происходили краткие разговоры, обмен новостями, сплетнями, книгами, газетами; здесь начинались новые знакомства. Увы, в моей памяти не сохранились фамилии моих сотоварищей по тюрьме. С моим сокамерником разговоров общих идейных не могло быть. Человек он был добрый, простой и сердечный, но жил своей собственной жизнью, в области воспоминаний о службе и о семье; читать тоже было нечего.

Оставалось, что и было принято более старшими товарищами, сидеть спокойно в тюрьме, изучать политическую экономию и иностранные языки или, что я первое время и делал, заниматься философией, расшифровывать, прибегая к словарю, тяжеловесные труды немецких авторов. Если я так и поступал, иду на 107.

Если же я решил, что сидеть спокойно в тюрьме не могу, не буду, а сыграю ва-банк, объявлю голодовку, потребую или освобождения, на что не было никакой надежды, или - что было вернее - немедленной высылки куда угодно, то иду на 121

§40.



Я перешел улицу и как бы невзначай остановился рядом с таинственной незнакомкой. Какое-то время мы просто молчали, наблюдая царящую вокруг суету города - текущую мимо похоронную процессию, возню мальчишек-газетчиков, столпотворение извозчиков. Мимо нас господа-полицмейстеры провели бродягу с заломленными руками. Должно быть, он украл что-то - один из жандармов нес с собой набитую котомку, никак не соответствующую его чину – по всей видимости, улику. Лицо бродяги сияло жизнерадостной белозубой улыбкой, в то время как лики его конвоиров были мрачны, а мундиры сочно перемазаны уличной грязью. Складывалось впечатление, что минувшее сражение с пленником развернулось для них не самым удачным образом. Вполне возможно, что совсем скоро, в околотке, под бодрым натиском административного кулака, этот несчастный бродяга выложил свои сахарные зубы на стол в качестве платы за услуги прачки для испачканных мундиров, но тогда он был искренне счастлив своей маленькой победе.

Барышня, как и я, с любопытством приглядывалась к мальстрему городской жизни, бурлившему кругом, и даже не поглядывала на часы, висящие неподалеку на столбе, как она должна была б поступать, если бы ожидала кого то. Это наблюдение подтверждало мою мысль о сходстве наших сущностей. Она заговорила первой:

- Вы тоже любите смотреть? - ее голос обволакивал роскошью бархата. Звучание слов в ее устах сразу расставляло все точки над i - передо мной была не какая-нибудь экзальтированная барышня прошлого века, я находился в обществе свободной раскрепощенной дамы века грядущего.

- Что вы видите? Расскажите! – попросила незнакомка меня. - Я хочу почувствовать - каков он, этот город, вашими глазами?

А я? Чем же я ответил ей?

«Слезают слезы с крыши в трубы, к руке реки чертя полоски; а в неба свисшиеся губы воткнули каменные соски. И небу — стихши — ясно стало: туда, где моря блещет блюдо, сырой погонщик гнал устало Невы двугорбого верблюда». - 63

Или же я сказал так: «За заставой воет шарманка, водят мишку, пляшет цыганка на заплеванной мостовой. Паровозик идет до Скорбящей, и гудочек его щемящий откликается над Невой.» - 54

Или же: «Улица, улица… Тени беззвучно спешащих тело продать, и забвенье купить, и опять погрузиться в сонное озеро города — зимнего холода… Спите. Забудьте слова лучезарных...» - 85

§41.

Когда я закончил читать, публика рукоплескала. Коняшевич поспешил ко мне с места и пожал руку.

- Браво, браво, братец! Вот это подход! Это я понимаю! Сильно задвинул! Я всегда знал, что у тебя талант! Не прячь его, не зарывай в землю - развивай! Твое слово – это то, чего не хватает сейчас в русской поэзии!

Потом мы пили, я еще читал какие-то свои стихи, уже не по теме вечера. Праздник Вакха и высокой словесности продолжался почти до самого утра. Пишу ВЕХУ “Слава” и иду на 101.

§42.

Строка: Кудах-

тах-

тах!

За что все это мне? - 1

Я вышел на перрон молча. Жестом приветствовал собравшихся. Толпа гудела, требуя слова.

- Не будет слова! - крикнул в народ встречающий меня друг. - Поэту запретили выступить с обращением!

Граждане вознегодовали. Вот-вот назревала драка.

- Пусть скажет хоть слово! - взмолился кто-то.

- Что за поэт - сказать не может!

Я сделал в толпу усмиряющие жесты, наблюдая, как жандармы довольно переглядываются меж собой. Гляделись-гляделись - глядь, а меня нету! Куда подевался поэт? А поэт уже был совсем в другом месте - карабкался на крышу вагона по железной лестнице и радостно махал встречающим рукой.

- Вы хотели слышать меня, товарищи? - кричал, перекрывая восторженный ор. – Ну, вот вам от меня исчерпывающая картина весны: «Листочки. После строчек лис – ТОЧКИ!»

Те, кто хоть раз держал в руках мои русские издания, неистовствовали от восторга. Как то друг взялся печатать мои стихи в России. Напечатал "Флейту позвоночника" и "Облако". Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня установилась стойкая ненависть к точкам. К запятым тоже.

Сняли меня с трибуны, конечно, мигом. Скрутили, руки за спину и в каталажку. Били много. Потом - в Кресты. Просидел до самого октября. За что мне все это - не спрашивал. Знал прекрасно. Если у меня нет КЛЮЧА «Революционер(208)» - пишу его себе. Если у меня этот КЛЮЧ уже есть, пишу себе ВЕХУ «Бунтарь» и иду на 104.

§43.

Строка: "В своих ужимках сыры и гнусны" - 1.

- Милый ангел! - воскликнул я. - Жизнь коротка! К чему переводить ее на горести и слезы? Утрите глазки, улыбайтесь! В Индии - вы ведь наверняка слыхали про эту страну? - когда человек понимает приближение скорой смерти, а это случается заранее, как правило, только с каким-нибудь уважаемым человеком, знаменитым йогом или факиром - тогда он приглашает в свой дом всех родных и соседей и родных соседей и соседей родных - и устраивает огромный пир горой, с музыкой, плясками, мотовством, что бы все вокруг веселились и радовались, и никто не вздумал бы грустить по такому глупому поводу. Ведь человек, по их вере, отправляется в гости к своим старинным родичам, и к давно ушедшим знакомым, и к диковинным богам с львиными головами и слоновьими ушами и синими лицами - а богов у индусов ровно девятьсот девяносто девять! А когда он нагостится там, то обязательно вернется обратно, родившись еще в более почетном и благородном титуле, нежели тот, в коем он жил в прошлой жизни, и все они опять встретятся, и будут жить еще веселее!

Но, увы, Лизоньку не веселили истории о сказочной Индии, мои ужимки и попытки растормошить вас были убоги и скучны. Лизонька пыталась улыбаться, но это была улыбка вежливости, глаза ваши

все равно блестели от слез. А я будто не замечал этого. Я кричал и шумел и ходил на руках, дурак дураком, пытаясь бестолковым шутовством разогнать тоску белокурого ангела. Но, не смотря на все мои старания, внутри нее оставался стылый кусочек льда, который не удавалось растопить никакому веселью. Иду на 150.

§44.

Степенным гоголем я ступил в мансарду и как можно нежнее поприветствовал прекрасную незнакомку. В ответ она подняла на меня свои невинные очи.

- Лизонька, - назвалась она.

- Отчего вы скучаете в одиночестве, Лизонька? - спросил я.

Тихим голосом белокурый ангел сослалась на усталость от шумного мужского общества. В ее интригующей отстраненности я видел гораздо больше, чем мог бы узреть иной, менее искушенный наблюдатель. Словно змейка, свернувшаяся во мраке тесным, недвижимым комочком, она манила меня антрацитовым блеском своих глазок и переливами сверкающей белой чешуи.

Я осыпал доставшееся мне нежное создание жемчугом комплиментов, хваля и ее скромность, и любовь к уединению, и бледность кожи, и хрустальную глубину глаз, и нежный изгиб тонкой шеи. Лизонька зарделись. Совсем не трудно оказалось растопить ее, казалось бы, незыблемую холодность.

К тому моменту я был уже на софе рядом с этим прелестным чадом и обнимал ее хрупкое плечико своей рукой. Еще миг - и губы наши слились в едином жарком порыве...

Глаз змеи, змеи извивы,

Пестрых тканей переливы,

Небывалость знойных поз...

То бесстыдны, то стыдливы,

Поцелуев все отливы,

Сладкий запах белых роз...

В самый неподходящий момент на лестнице появляется голова Коняшевича. Он окликнул меня по имени.

- Вот ты где! Идем скорее вниз! Там сейчас стихи читать будут!

Я спрашивал Лизоньку, не желает ли она присоединиться, но нежный ангел ответил, что ее уже утомили шумные публичные чтения, и просила меня спуститься в одиночку. Пишу ВЕХУ "Лизонька" и иду на 20.

§45.

Строка: «Товарищ,

знай,

что залипашки прозы» –

1(оценка)

Раньше я пробовал писать исключительно прозу. Из стихов я очень любил эксперименты молодых начинающих поэтов с заумью и пачками скупал их тоненькие книжечки, напечатанные на дешевой, почти туалетной бумаге, но самого себя считал к стихосложению совершенно неспособным. Однако свои прозаические опусы я взялся

бы судить вполне удачными, хотя строки и давались мне с трудом, со множеством исправлений и вставок. В общем, литератор я был никудышный. Но если же мне выдавался случай позабавить публику, я всенепременно старался использовать этот момент на всю катушку.

Выйдя в центр зала армейским чеканным шагом, я по-военному сделал оборот на каблуках, отдал честь и встал по-наполеоновски, прижав одну ладонь к сердцу, а другую вскинув в приветственном салюте. При этом меня слегка покачивало - давало о себе знать обилие выпитого.

Взгляд мой пробежался по залу, ища вдохновения, и первое, на чем остановился, был стол, накрытый яствами. И я воскликнул: « О, спелый виноград! О, розочка в горшочке! Бараний окорок - и вот…» - тут я неожиданно вспомнил о заявленной теме вечера и патетически закончил: «Одна тыща девятисот пятый год!»

Какой тут поднялся гвалт! Послышался свист и улюлюканье, крики “Долой со сцены!” “Что за скоморошество?”

- Вы ничего не понимаете в настоящем искусстве! - презрительно бросил я. - Это - поэзия века грядушего! - тут я так чувственно вскинул руки, что чуть не упал. - Вот!

Со своего место поднялся Латунский, знатный литературовед:

- Это убожество никогда не сумеет заслужить статус поэзии! Ваши поделки и хамские выходки смешны и способны привлечь лишь самую непритязательную публику! Ищите ее в каком-нибудь грязном кабаке, а не на литературных вечерах.

Что я ответил ему?

- Не нравится - и не надо! Оставайтесь здесь, с вашими бесконечными потугами переплюнуть давно погасшие светила! А я пойду... - 28

- Вы кто такой будете, что б мое искусство критиковать? А ну-ка ответьте за свои слова! Я вызываю вас к барьеру! - 83

Я ничего ему не сказал, а решил выждать время и подобрать подходящий момент для мести - 59

§46.

Морщась, я вслушивался в неуклюжие сплетения рифм. Оттого ли, что Латунский задел меня, казались они мне столь уродливыми, или же и впрямь Латунский был никудышным поэтом, но я, превозмогая себя, запоминал и анализировал его строфы, стараясь разложить по полочкам все недочеты. В груди моей кипела праведная ненависть.

Что же вышло из моего анализа? Если у меня есть КЛЮЧ "Знаток поэзии", я направлюсь на тот параграф, который ему соответствует. А иначе, я иду на 19.

§47.

Приблизившись к таинственному бледному силуэту, я увидел, что это - юная особа весьма симпатичной наружности, просто-таки белокурый ангел. Возможно, я уже встречал ее ранее. Если у меня есть веха "Лизонька", иду на 16. Если нет, продолжаю здесь.

Замерев, девушка стояла ко мне вполоборота и будто не замечала моего присутствия. Робким приветом я привлек к себе ее внимание. О, что за дивный ангел мне повстречался! Каждый жест, каждый взгляд ее был исполнен совершенства. Должно быть, так выглядела дева Мария, когда ходила по земле. Первостепенный образец

скромности и чинности и - вместе с тем - цветок яркой, небывалой красоты.

Мы поздоровались. Она назвала себя Лизонькой. Это имя - именно в такой форме - невероятно шло ей, будто специально подчеркивая те качества, что я намечал для себя при первом впечатлении глаз. А голосок! Как чудесно звенел он, выговаривая заветные буквы! Точно серебряный колокольчик разливался нежными переливами. Пишу себе ВЕХУ "Лизонька" и иду на 2.

§48.

Это было последней каплей в чаше моего терпения. Больше всего на свете мне было нужно, что бы меня любили. Что бы меня читали, что бы с восхищением произносили мою фамилию, что бы хвалили. А любви не было. Тогда я сел за стол и написал прощальную записку: «Всем! В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил…» Но еще два дня я провел в тягостных раздумьях. Последней каплей стал мой разговор с трогательной девочкой, актрисой театра N. Я специально не упоминаю ее имени, что бы не бросить тень на репутацию этого нежного создания, этой крошечной принцессы.

У нее был муж, и она не желала моей позорной страсти, а я ухаживал за ней, почти насильно, мне требовалось впихивать в кого-то свою любовь – так я надеялся получить в ответ любовь взаимную. Бедная крошечка, сколько она от меня натерпелась! В последний день я похитил ее с репетиции, запер у себя в комнате и требовал окончательного ответа – будет она со мной или нет? Я до полусмерти напугал этого несчастного ребенка своей глупой истерикой. Опомнившись, я отпустил ее, и когда маленькая актрисочка скрылась за дверью, я достал из стола свой браунинг и лег виском на дуло пистолета. Последней строчкой стихов, оставленных в записке, было:

«Сумеют

остудить

мой пылкий

лоб!»

(Пасьянс сошелся)

В эти стихи я попытался, как мог, впихнуть всю свою прошедшую жизнь. Что-то стукнуло над ухом, я сморгнул с глаз накатившую пелену и увидел, что я стою там же, где и стоял прежде, может быть всю вечность кряду, – на подмостках душного ада парижского кабаре. Моя жизнь была всего лишь рваными строчками стихов, и я бросал ее всю, без остатка, на поживу хохочущей и кривляющейся во тьме публике.

Abyssus abyssum invocat.

§49.

Я выскользнул из толпы и за углом дома Зингеров доложил безликому добытые сведения.

-Орел-с! - хлопнул он меня по плечу. - Далеко пойдешь, парень! - и исчез в закоулках, протянувшихся вдоль канала Грибоедова. Пишу себе КЛЮЧ "Сын Отечества(165)" и иду на 18.

§50.

Лизонька встретила меня с встревоженным лицом. Я молча прошел к окну, отдернул штору и не мигающим взором уставился в чернеющее небо.

Ее нежные руки тихо легли ко мне на плечи.

- Я слышала, как вы читали, - сказала она. - Не расстраивайтесь так. Они мало что понимают! За это я и не люблю их общества.

Я не оборачивался, что б не показать предательского блеска в своих глазах.

- Пожалуйста, - шептала она. - Не сдавайтесь! Пишите, будьте поэтом! Я верю - у вас большое будущее!

- Спасибо, - сказал я ей. - Вы - спасительница моей души!

Остаток вечера мы провели вместе, читая друг другу стихи. А из окон за нами наблюдали голубые глаза огородов. Иду на 28.

§51.

Ох уж этот Латунский! Ну и опасный боец! Дернул меня черт с ним связаться! Вскинув кочергу, я запустил ее по кривой, целя загогулиной прямо супостату по ребрам. Мой грозный удар провалился в то место, где за секунду до этого находилась грудь моего противника. И тут меня внезапно с чудовищной силой вжало в землю. На какое-то время я потерял сознание, а когда пришел в себя, то не сразу еще смог что-то видеть - зрение покинуло меня. Спиной я ощущал колючие стебли травы, лицо и руки были залиты теплой кровью. Точный удар Латунского пришелся мне прямо в переносицу, начисто переломив нос и выбив из меня дух. Меня унесли в дом и оказали первую помощь - промыли рану, вставили в ноздри марлевые турундочки и привели в чувство.

Через какое то время я, с перебинтованной головой и вусмерть пьяный, пил с тем же самым Латунским и обнимал его как брата. Воистину, Вакх - самый могучий лекарь. Он утоляет и телесную боль, и врачует раны сердца. Так закончился тот вечер на даче у Коняшевича. Пишу КЛЮЧИ "Сломанный нос"(255) и «Скандалист(11)». Иду на 101.

§52.

Стараясь выдержать мягкую и спокойную интонацию, я поприветствовал прекраснейшее создание. Голос мой после недавней простуды был довольно хриплым и казался мне неприятно царапающим слух. Барышня, встрепенувшись, подняла голову от книги и улыбнулась мне робкой чарующей улыбкой.

Осмелев, я представился и попросил дозволения на краткий миг нарушить ее уединение.

- Что вы, что вы! - засмеялась она. - Конечно, присоединяйтесь! Мне одной здесь так скучно… А внизу столько шума и суеты…

Она тоже назвала свое имя. Лизонька. Голосок ее звучал так живо, так тонко, будто серебряный колокольчик.

Ах, Лиза, Лизонька! С первого взгляда вы запали мне самую душу! Как мило мы болтали, как пело мое сердце, когда я слышал ваш чудный голос! Вы рассказали мне о себе. Что живете вы в Петербурге. Что у вашего отца здесь по соседству находится имение, и вы часто бываете в гостях у Коняшевича на его вечерах.

- Здесь собирается так много поэтов, творческих людей, интеллигенции... А вы? Вы тоже поэт?

- Нет, - усмехнулся я. – Разве что только начинающий.

- Пишите! – с жаром попросила Лизонька мне. - Пишите! Я бы с удовольствием прочла ваши строки. Вы так изящно изъясняетесь! Так и хочется записать ваши слова на бумаге! Возьмитесь за перо – и я непременно стану вашей верной и преданной читательницей! (пишу КЛЮЧ «поддержка(50)» и ВЕХУ “Лизонька”)

Внезапно на лестнице появилась голова Коняшевича. Он окликнул меня по имени.

- Вот ты где! Идем скорее вниз! Там сейчас стихи читать будут!

Я спросил Лизоньку, не желает ли она присоединиться, но белокурый ангел ответила, что ее уже утомили шумные публичные чтения, и просила меня спуститься в одиночку. Иду на 20.

§53.

- Давид, - представился мой спутник, - Бурлюк. Но друзья обычно зовут меня Додя.

Я тоже назвал ему свое имя. Мы вышли из подъезда "Башни" в темную ночь и побрели вдоль по шрамам улиц, иссекшим скулу города. А сквозь нас, на лунном сельде, скакали крашеные буквы вывесок, и фонари моргали вслед так наивно-робко. Я делился со своим попутчиком найденными только что метафорами, и тот радостно смеялся в ответ.

- Да вы - настоящий поэт! Стихи пишете? Прочтите что-нибудь из вашего!

Я швырял ему в лицо своими рифмами, гулкими и тактными, словно громыхание проносящегося поезда.

Вбиваю гулко шага сваи,

Бросаю в бубны улиц дробь я.

Ходьбой усталые трамваи

Скрестили блещущие копья.

Подняв рукой единый глаз,

Кривая площадь кралась близко.

Смотрело небо в белый газ

Лицом безглазым василиска...

- Великолепно! Замечательно! - восклицал Додя, роняя монокль и промокая глаз белым платочком. - На ходу сочинили из-за того, что у меня нет одного ока? Я шучу, шучу. У меня глаза нет с детства. Как меня только не называли - я привык.

- Это вообще не я сочинил, - почему-то засмущался я. - это стихи моего друга.

- Ну да, ну да..., - хмыкал Додя. - Как же. Зачем вы обманываете? Это ведь вы сочинили! Я должен немедленно представить вас своим друзьям, идемте!

Мы поймали шоффэра и прибыли на нем в один из салонов, которыми был так славен Петербург той поры. То было приватное заведение "для своих" прямо в самом центре сити. Раньше я слыхал об этом месте, поговаривали, здесь любила собираться знаменитая на всю столицу группа авангардных художников "Бубновый валет" и прочие творческие личности, но двери этой богемной обители были наглухо закрыты для непосвященных. Мой спутник же легко распахнул их передо мной и смело ввел меня в это царствие безграничного супрематизма.

В темном гулком холле было смогово-дымно, свет софитов над бильярдом смазывал лица в гротескные маски. Додя представил меня дальнему столу, где собрались самые отпетые члены местного бомонда. Звучали какие-то громкие фамилии, сопровождаемые смачно-лестными отзывами, а затем была произнесена и моя фамилия тоже, охваченная по воле моего проводника таким же плотным кольцом дифирамб, что и прочие - "настоящий гений… новообретенный талант..." Горло мое стиснула петля неподдельного ужаса. Я и они. Да этот Бурлюк сумасшедший! Послышались закономерные смешки.

“Откуда нам знать, Додя, что ваш спутник и впрямь так гениален? Может быть, он сам продемонстрирует нам свою гениальность?” Я понимал, в какой аркан я попал. Вот она была - скоропалительная месть Доди за “лицо безглазое василиска”! Хотелось повернуться и выбежать. Но на ущербном лице своего спутника, вынырнувшем рядом из мрака, я не увидел ни тени издевки.

- Читайте! - шептал Додя. - Им это правда надо! Или... нам позвать вашего мифического друга?

Отступать было некуда. Я в пещере дракона, нет - гидры! Будто легендарный герой прошлого, пришедший сразить монстра. Это был мой бой. Убить или быть убитым! И я вонзил в чудище тяжелый дрот своего стиха. Но какого именно?

Бобэоби пелись губы,

Вээоми пелись взоры,

Пиээо пелись брови,

Лиэээй - пелся облик,

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.

Так на холсте каких-то соответствий

Вне протяжения жило Лицо. - 95

Или

Золотя заката розы,

Клонит солнце лик усталый,

И глядятся туберозы

В позлащенные кристаллы.

Но не надо сердцу алых,-

Сердце просит роз поблёклых,

Гиацинтов небывалых,

Лилий, плачущих на стёклах. - 198

Или

Белокаменны палаты,

Стопудовая краса.

Мчатся сани-самокаты,

Не жалей коню овса! - 160

§54.

Строка: "В сердцах людей, прозрачны и ясны" - 3

- Как вы пронзительно все подмечаете, - сказала незнакомка. - Ваши стихи оседают в самом сердце. Это экспромт, да? Позвольте, я попробую продолжить!

Она перевела дух, сосредоточенное выражение сделало черты ее лица, различимые сквозь вуаль, невероятно милыми, и нараспев произнесла:

В черном ветре злоба и воля.

Тут уже до Горячего Поля,

Вероятно, рукой подать.

Тут мой голос смолкает вещий,

Тут еще чудеса похлеще,

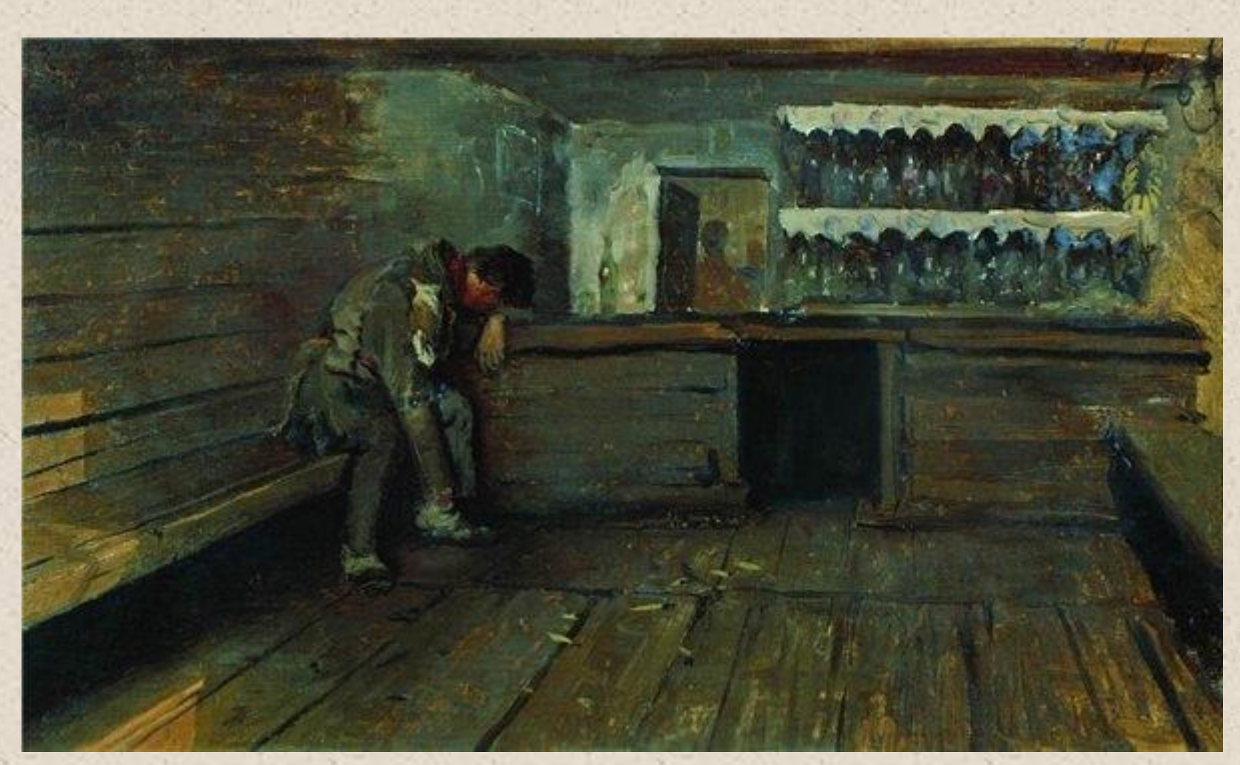
Но уйдем – мне некогда ждать.

И она, смеясь, неожиданно ускользнула от меня, с невероятной ловкостью вскочив на подножку проходящего мимо трамвая. Если оставленного таинственной барышней впечатления мне достаточно, и я вместе с собеседницей хочу сохранить ее инкогнито, дабы образ прекрасной незнакомки и впредь будил мое воображение, тогда я пишу КЛЮЧ "Незнакомка(86)" и иду на 150. Иначе - ничего не записываю и иду на 66.

§55.

Теперь иду на 120.

§56.



Эта дыра и рядом не стояла с салонами и забегаловками, которыми так помнится Петербург того времени. Здесь пили спирт, разбавленный солодом, выдавая его за пиво. Здесь в чаде трубочного дыма не было видно лиц. А взгляды бывалых завсегдатаев — острые, как ножи — больно чувствовались лопатками, даже сквозь эту призрачную завесу.

Кабак! Трактир дорожный! Вот чего так просила изнывшаяся душа! На же, наслаждайся! И я ликовал, и я пил это жгучее пойло из горланной бадьи, просиженной мухами. Я вдыхал грязный запах дна, отчего то так трепетно отзывающийся в томящемся сердце. Глядя на исходящую дымом папиросу, думал, вот она - настоящая русская родина.

А тут и голь кабацкая подкатила. Криворожая, бандитская.

- Не угостишь ли табачком, браток? Кто таков? Как сам? Какими ветрами к нам занесло? А поставь-ка сироте кружечку зубы сполоснуть, да желудок согреть!

А я и отвечал:

- Катись ты мимо, голь кабацкая! Нету у меня тебе ни табачку, ни грошика! Сам сирота и средства у меня сиротские! Себе бы хоть захмелеть хватило. - 87

- Я поэт! Я такой же, как и ты, пропащий! (и читал им стихи) - 34

- На, угостись-ка самокруточкой да отхлебни побольше! Да чего один-то подходишь? Братков своих зови — пить будем, гулять будем! Последнюю рубаху промотаем — лишь бы дым коромыслом! Душа у меня сегодня тоскует! - 97

§57.

Теперь иду на 100.

§58.

- Что за таксидермический подход вы декларируете? - возражали мне. - Что за освежевание поэтической мысли предлагаете?

- Ваши идеи совершенно бесчеловечны. Кому вы собираетесь посвящать свои стихи? Станкам и машинам? А где же место - место душе в этой вашем нагромождении?

- Отрицая человека, вы тем самым лишаете себя единственного зрителя! Это безумие какое-то, а не искусство. Вы немыслимо опережаете свое время, заведомо ввергая нас в промышленный ад победившего технократизма.

За этими разговорами аппетит публики к прекрасному разгорелся, сообща было решено оставить досужие споры и перейти к чтению стихов. Иду на 20.

§59.

Как именно я тогда задумал отомстить? Определенно, следовало дождаться момента, когда Латунский сам возьмется читать свои стихи.

Недюжинная выдержка мне понадобилось, чтобы вести себя как ни в чем не бывало и любезничать с людьми, которые недавно осмеяли меня. Но вот, наконец, момент настал, и Латунский, порядком захмелев от выпитого, сподобился порадовать окружающих собственным творчеством. Выйдя на середину зала, он громкими хлопками привлек к себе внимание и, подбоченясь, прочувствованно начал декламировать. А я решил:

По косточке разобрать его поэтические потуги на потеху публике - 46

Бросить в него бутербродом - 24

§60.

Когда Латунский оборвал свой стих на высокой трагической ноте, выдерживая паузу, я раньше всех преувеличенно громко зааплодировал и выступил вперед.

- Браво, браво! Неплохо! Я бы даже сказал - выпестовано идеально. Но где же в этих стихах ваша личность, Латунский, ваша душа? Пока вы читаете - ее еще можно понять, но перенести эти стихи на бумагу - и, пожалуй, не разобрать будет даже когда они были написаны - в наш век или еще в начале предыдущего? Вы - мастак острого словца, когда дело доходит до чужих стихов, но отчего туманится ваш прозорливый взор, когда дело касается ваших собственных творений? Посредственные стихи, весьма посредственные!

Глядя на меня ненавидящим взором, Латунский что-то пытался возражать, но я, без всякого сомнения, разбивал его возражения. Не найдя больше словесных доводов, он с глухим рыком бросился ко мне с кулаками, но его остановили и отвели в сторону.

Это был явный триумф. До конца вечера я оставался в центре внимания. Меня просили еще что-нибудь почитать и я, не отказываясь, читал. Так закончился тот вечер на даче у Коняшевича. Пишу ВЕХУ “Слава” и иду на 101.

§61.

Строка: "Ручьев рыданья унимали до весны…" - 5

Я безумно любил гулять здесь. Мне всегда было что поведать моим неизменным спутникам по преддверию царства теней - огромным черным воронам, снующим в кронах деревьев и с видом полноправных хозяев разгуливающим по навершиям плит.

Здесь уже не было надрывного горя и безутешных страданий. Рыдания утихли, и душа получила заслуженное умиротворение. Каждое печальное надгробие готово было поделиться своей грустной историей - неизменно грустной, счастливых концовок здесь не сыскать. Даже надпись: "Они жили долго и счастливо" наполняется в местном воздухе особенным, трагическим смыслом, делая особый упор на форму прошедшего времени.

Жизнь и смерть соседствовали здесь в гармонии, исполненной глубокой таинственности. Вот по ветвям резво проскакала белочка - каким видится ее звериными глазками это царство Танатоса? Чувствует ли крохотная животина его печальный дух, или для нее это лишь странное продолжение леса, наполненное выступающими из земли каменьями?

Меж черных плит мелькали горящие алые бусины.

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед –

Кладбищенской земляники

Вкуснее и слаще нет…

Тихая печальная муза подкралась ко мне незаметно, положила на плечи невесомые ладони и шепнула в ушко заветные строки.

Здравствуй, муза! Я внемлю тебе! Какие еще слова ты посоветуешь посвятить этому печальному величию?

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь. - 102

Или

Чернеют пускай могилы

Я мрака их не страшусь

Душа у меня изнылась

А здесь лишь покой и грусть. - 71

Или

Сияет она как бархат

Как сорванная душа

И хочется жить и плакать

По душам тихонько скорбя - 81

§62.

- На кочергах! - провозгласил я, и тут же по рядам нашего собрания прокатился нестройный глас. Кто-то одобрительно улюлюкал, кто-то стремился увещевать нас не чинить

смертоубийства. Но меня пьяного трудно было переспорить, и, приняв решение, я железно стоял на своем.

- Это серьезный выбор, - говорил Коняшевич. - Господа, вам предстоит сражаться подобно доблестным рыцарям, вооружившись тяжелыми железными пиками, но без щитов и доспехов.

Латунский стоял насупленный и весь подобравшийся, закатывая рукава. От лица его совершенно отлила кровь, и оно казалось неестественно желтым, будто восковая маска.

Все вышли во двор. Нам принесли две длинные закопченные кочерги. Вино лилось рекой. Собравшиеся подтрунивали друг над другом и храбрились, не желая выдать страха от предстоящей затеи. Взглянув на эти массивные чугунные ломы, я только сейчас осознал всю возможную смертоносность нашего мероприятия. Но отступать я не решился. Честь - это святое, и брошенного слова не воротишь.

Взяв кочергу в руку и примерившись, я приложился к бутылке игристого вина, что бы затопить разлившийся в животе холодок.

- Эге-гей! - грозно взмахнул я своим орудием. - Ратная будет забава!

Нас развели и назначили нам секундантов. Мне достался Гумилев. По команде взявшегося судить Коняшевича мы выступили навстречу друг другу, сближаясь широкими кругами.

- До первого удара, господа! - кричал Коняшевич. - До первого точного попадания!

Глядя на уверенные, хищные движения Латунского, казалось бы совершенно не свойственные его нескладному, худому телу, я вдруг понял - да он же отставной военный! Наверняка он умеет владеть саблей! Эта мысль ошпарила меня будто кипятком. А я? Ну а что же

я? Искусен ли в молодецких забавах? Был ли я так же прозорлив и проворен, как мой противник?

Вот кочерга в его руках свистнула, устремляясь массивной загогулиной прямо в мой висок. Я едва успел вскинуть свое орудие и тугой звон отдался в пальцах болезненной дрожью. Если я вспомню навскидку сколько гостей присутствовало в зале помимо меня, когда я вошел - значит и я был парень не промах, с наметанным глазом. Тогда иду на параграф, номер которого соответствует числу присутствовавших. Если же не помню, иду на 51.

§63.

Строка: "В своих ужимках сыры и гнусны" - 1

- Как крикливо это прозвучало! - нахмурилась незнакомка. Бровки ее потешливо изогнулись за муаром вуали. - Я тоже не сторонница классицизма, но ваш размер стиха повергает любые каноны. Впрочем, - она уже смеялась, - Здесь не Академия Словесности, а просто улица, и вы не прославленный ритор, а прохожий, да и я не благородных кровей девица.

Ее слова повергли меня в угрюмость. Я не привык, что бы дамы критиковали мои стихи. Всякие напыщенные фофаны, мнящие себя мастаками словесности - сколько угодно. Барышни же обычно пищали от восторга и вешались на шею поэту, читающему им стихи, и даже различали в моих строках совершенно не присущий им романтизм, говоря, что у меня призвание лирика... Что же это за штучка была такая, эта таинственная барышня?

В ответ на ее слова я:

Предпочел обидеться - 179

Решил сделать ей комплимент - 136

Решил перейти от слов к делу. Не сумев задеть ее сердце стихами, я решил обжечь его жарким поцелуем - 158

§64.

- Ну уж нет, - отвечал я. - Хватит мне вашего ерничества. Сами читайте, если вам так хочется!

- В своих мнительных ужимках вы сыры и гнусны, угрюмый уличный поэт, - холодно бросила незнакомка и с этими словами резким шагом удалилась прочь по улице, смешиваясь с толпой. Отчего-то, ее последние слова глубоко запали мне в душу. Иду на 150.

§65.

Пишу ВЕХУ "Художник".

Работа в издательстве была кипучей. В ту пору особенно сильно требовались иллюстраторы, не смущавшиеся браться за черновую работу, подразумевавшую приготовление литографического пресса и наборных станков. В то время как постоянную работу мелкого литератора было днем с огнем не сыскать, и все, кормившиеся на этом поприще, перебивались поденщиной, художники мнили себя исключительными гениями, обитателями Парнаса, и чурались простого ремесленного труда.

Я легко освоил навыки нанесения раствора на форму и проводил часы, водя жирным литографическим карандашом по гладко отшлифованной поверхности металлического листа. Работа эта была почти обезьяньей - с готового эскиза, подготовленного именитым художником, я переносил рисунок на пресс в зеркальном отображении, используя для удобства планшетную доску с приставленным зеркальцем, чтобы при оттиске картинка имела правильное отображение.

Затем лист с нанесенным изображением закреплялся в станке и протравливался кислотой. Едкая эссенция промачивала металл, оставляя мутные радужные разводы на чернильном пространстве пластины. Ноздри ласкал жгучий запах химикатов. После этого литографическая тушь и окислы безжалостно смывались водой. Взамен, по влажной поверхности матрицы валиком разгонялась печатная краска, и в воздухе расстилался пряный запах олифы. Протравленные участки легко смачивались водой, но отталкивали литографскую краску, а на места, где был нанесен жировой рисунок, легко прилипала краска, но они оставались сухими.

С готового пресса можно было снимать один за другим печатные эстампы - литографические изображения для изданий: книг, журналов и брошюр.

Сдружившись с редактором и скопив небольшую сумму, я за мизерную цену сумел издать через нас книгу, сам набрав шрифты и подготовив иллюстрации. Это была пока еще тоненькая брошюрка, какими в изобилии пестрили прилавки букинистических киосков, но это был уже пусть маленький, но шаг к известности. Пишу себе ВЕХУ "Собственное издание" и иду на 200.

§66.

- Кто вы, прекрасная леди? - крикнул я ей вслед.

- О нет, я совсем не леди, - смеялась барышня, удаляясь по улице. - Зовите меня Анечкой. Если вы не зароете свой талант в землю и продолжите творить, мы обязательно еще встретимся с вами, поэт! Я вас запомнила, вы мне очень приглянулись, - и я окончательно потерял ее из виду, когда она смешалась с толпой прохожих. Пишу себе ВЕХУ "Анечка" и иду на 150.

§67.

"Во втором этаже дома было пыльно и пусто. Мебель стояла закинутая балдахинами, а широкое окно было задернуто плотной шторой, от чего казалось, будто в комнате нет никаких цветов, кроме серого. Глухая обида отравленной стрелой ввинчивалась в мою грудь, не давая дышать. Я распахнул штору и отворил окно. Прямо за домом раскинулся пруд, и холодные воды плескались возле самой стены обители моих злоключений. Единым порывом я преодолел невысокую преграду подоконника и устремился прочь от злобы и суеты этого мира – прямо в пучину ледяных свинцовых волн…"

На этом моменте я закрываю тетрадь и откидываюсь на спинку стула. Вдохновение не шло ко мне. Мой роман о поэте Серебряного века никак не желал сдвинуться с мертвой точки своей безысходности. Что ж, завтра будет новый день и, вместе с ним, быть может, новое начало... Или мне, все же, слишком дорог мой печальный герой, что бы вот так, невпопад, оканчивать его судьбу? Если я сумею пересилить себя и продолжить книгу, продумать бессонной ночью переплетения и тяготы судьбы, через которые пришлось пройти моему герою, что бы выкарабкаться, то могу записать ВЕХУ «Неудачник» и продолжить повествование на 101.

§68.

- На стихах! - громко провозгласил я. Публика встретила мое решение радостным улюлюканьем. Нас развели по разные стороны импровизированной сцены, кто-то взялся в пьяном угаре считать между нами шаги, но его одернули.

- Они же не стреляться собрались, уймись!

Я вздохнул поглубже. Удивить пьяную и раздухарившуюся публику рифмой было ох какой непростой задачей. Коняшевич взялся руководить дуэлью.

- Первый выстрел за зачинщиком! Зал будет судить, пришлась ли пуля в цель! Стреляемся до двух попаданий! - объявил он. - Начинайте!

Я осмотрел нахохлившегося Латунского с ног до головы. Как его уязвить? Как пройтись по нему так, что бы пьяное собрание встретило мои слова овацией? Моему противнику было проще - у него имелось время на раздумья, а мне приходилось импровизировать на ходу. Однако я худо-бедно, но был знаком с фигурой Латунского и его творчеством, а меня Латунский видел впервые в жизни. Если у меня есть КЛЮЧ "Поддержка", я могу вычеркнуть его и сразу присудить себе 1 очко. Это будет ровно половина моей победы. А теперь настала пора "стрелять". Какую «пулю» я заготовил для своего визави?

Бесчестью твоему нужна ли перемена?

Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?

Уймись — и прежним ты стихом доволен будь,

Плюгавый выползок из гузна Дефонтена! - 14

Или

Со словами возится как крот -

Если перл найдет, то не подымет.

Все грызет, грызет голодный рот

В этом рте культура наша сгинет! - 4

Или

От страсти извозчика и разговорчивой прачки

невзрачный детеныш в результате вытек.

Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.

Мать поплакала и назвала его: критик. - 90

§69.

Строка: «Кудахтать брось про белые березы» - 1

Иду на 252.

§70.

Строка: "В сердцах людей, прозрачны и ясны" - 3

О, какие строки пылали у меня на устах! Как легки и хрустальны они были! Будто холодные ветра с бескрайних просторов трепетались в них! Как хотелось мне в каждом слове запечатлеть поэзию окружающего пейзажа! Белую стылость, еще непоколебимую, но уже предчувствующую свой скорый конец. И силуэт незнакомки на горизонте, словно воплотивший в себя все одиночество и всю безысходность этой печальной юдоли.

Февраль. Достать черных и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

У меня не случилось при себе бумаги - только старое заржавелое перо лежало в кармане сюртука. А стихи рвались наружу, просились быть запечатленными, сейчас и немедленно! Рождавшиеся рифмы были столь же идеальны, и столь же неожиданны. И словно богиню, рожденную из нежной морской пены, я боялся доверить их хрупкую плоть грубым одеждам памяти. Я взял широкий плоский камень у

самой воды и на его влажной поверхности стал царапать скрипящим пером драгоценные буквы.

Смотреть на серый купол неба

Смотреть в стальные облака

Смотреть и до конца не верить

Что вот уже умрет зима. – 6

Стеклянно рвется паутина

Седых снежинок января

И вдруг меняется картина

И блещет на волне заря. – 135

Достать пролетку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колес,

Перенестись туда, где ливень

Еще шумней чернил и слез. – 75

§71.

Мое странствие по земле мертвых близилось к концу. Там невозможно бывать подолгу – Хозяйка Кладбища, мистический дух, по преданию властвующий в этих пределах, не терпит живых постояльцев. Грудь сжимает невидимый обруч, в глазах темнеет, под кожу заползает неведомая жуть. Магические черные книги весьма зловеще рисуют облик Хозяйки кладбищенских владений – лицо ее наполовину женское, наполовину – оголенный череп, она облачена в черное подвенечное платье. По заверениям этих же самых книг, Хозяйка любит в качестве подношения принимать сырое

мясо животных и крепкое вино. Временами я воздавал ей должное за ее гостеприимство.

Когда стало смеркаться, я покинул ограду кладбища, унося желание творить и заветные строки, рожденные здесь. Иду на 150.

§72.

Строка: "И мужичье стелило перевозы" - 5

После ухода Гумилева и его товарищей, в комнате закипело бурное обсуждение выходки поэта. Верные псы по очереди вскакивали и бодро лаяли в тональности, заданной хозяином. Их слова брызгали осуждением и презрением.

А я видел на месте этих чинных и благородных мужей, пристрастных к высокому классическому духу, картину из своего раннего детства. Синюшный зимний вечер. Переправа. Бездыханное тело реки укутано пушистым саваном снега, и сельские мужики торят через сугробы дорогу к жилью. Хитрый мороз щиплет щеки. Мужики клянут на чем свет стоит нежданный снегопад, хлесткую изморозь и друг дружку заодно. Звонкий рой матных словесов висит в воздухе. Топорщатся припорошенные снежной сединой бороды, неистово мелькают руки.

Отчего-то мне стало очень грустно - от выпитого ль вина, или от печальных мыслей... И когда волнение спало и вместо бранных слов вновь зазвучали высокие рифмы, мне совсем уже не хотелось их слышать. Хотелось читать басни, а не стихи. Иду на 3.

§73.



В день моего возвращения на Родину небо тоскливо хмурилось серыми тучками и косые слезы дождя тихо и ласково исчерчивали щеки вагона в мягком сумраке, будто это мать плакала от радости, встречая сына.

На вокзале мне была приготовлена торжественная общественная встреча. В столице уже прогремела весть о возвращении в Россию поэта-изгнанника. За стеклами проплывали стоящие на перроне толпы людей. Черная масса тел была разбавлена брызгами ярких букетиков в руках встречающих.

Когда я собирал свои вещи, в вагон ввалился толстый как бочонок жандарм. Его широкое лицо сально блестело, три подбородка вывалились на грудь из-под ремня каски, сжимавшего лицо. Жандарм обратился ко мне по имени-отчеству и ехидно предупредил, что

мне, как лицу в крайней степени неблагонадежному, запрещено выступать с общественными обращениями. В случае же, если я решу обратиться к встречающим с речью, полиция примет в отношении меня самые жесткие меры, как в отношении диссидента и политического преступника, которому дана последняя попытка одуматься. Пока он говорил, важно выпячивая вперед все свои три подбородка, я ощущал резкий запах пота, исходящий от его тела. Я бросил взгляд в окно - фигур встречавших было не различить за мокрым муаром стекла. Но и не видя лиц, я ощущал исходящую от людей надежду. Надежду на перемены, вестником которых я выступал для них. Как я поступил?

Я решил исполнить приказ жандарма и не обострять своих отношений с властью - 32

Я решил наплевать на волю властей и обратиться к собравшимся с пламенной агитационной речью - 42

Я решил изобрести иной способ обратиться к собравшимся, избегая слов и не нарушая приказа, но при этом выражая людям свою признательность - 7

§74.

Теперь иду на 88.

§75.

Да, вот оно!

Я не сводил взгляд с царапин на мокром камне, в которые мне удалось вплести весь окружающий мир с его необъятным простором и тонким ароматом рыбного промысла.

Прижимая к груди драгоценный петроглиф, я брел по раскисшей дороге. На деревьях черными грушами гроздились первые грачи, и

запах беспредельной морской свободы еще долго преследовал меня. Камень был невероятно тяжел и холоден, но я не смел выпустить его из окоченевших пальцев. Только на перепутье, где я умудрился поймать заплутавшего извозчика, я опустил свою драгоценность рядом на седушку и облегченно вздохнул. Насколько дико я смотрелся должно быть — по колено в грязи, с горящим взглядом, прижимающий к сердцу огромный мокрый булыжник! Пишу КЛЮЧ «Мастер слова(25)» и иду на 150.

§76.

Не стал я дожидаться, пока перышко острое на свет божий покажется — подхватил свою кружечку да плеснул блатарю в глаза жгучим пойлом. И тут же эта кружечка увесистая полетела во второго бандюгана. Кинулся я к двери — да там третий товарищ уже мелькал. Склабился злорадно, пику острую из ладони в ладонь перекидывал, игрался. Шагнул я на него, кулаком замахнулся — тут-то стальное жало мне прямо в живот и прыгнуло. Однако и я не дурак оказался — отшатнулся назад, ногой табурет от соседнего стола подцепил и прямо под руку двинул. Скользнуло лезвие меж досок — да там и застряло, ни вперед, ни назад. Ну а тут уж и я ждать не стал, запульнул замешкавшемуся блатарю кулаком в ухо, так чтоб тот осел, родимый. А сзади уж и два прежних знакомца присоседились. Пока мы с ними вокруг столов танцевали, да мебель опрокидывали — там и жандармы подоспели. Повязали нас всех под белы рученьки, да в околоток спровадили. И пока скучал я среди сырых стен, немало стишков повыдумывал. Про жизнь кабацкую, про судьбу хулигана. Когда выпустили — только записать их осталось. Но тут уж дело за немногим встало.

Если у меня был КЛЮЧ «Боец», меняю его на КЛЮЧ «Дебошир(99)». Если не было — пишу КЛЮЧ «Боец(152)». Затем иду на 150.

§77.

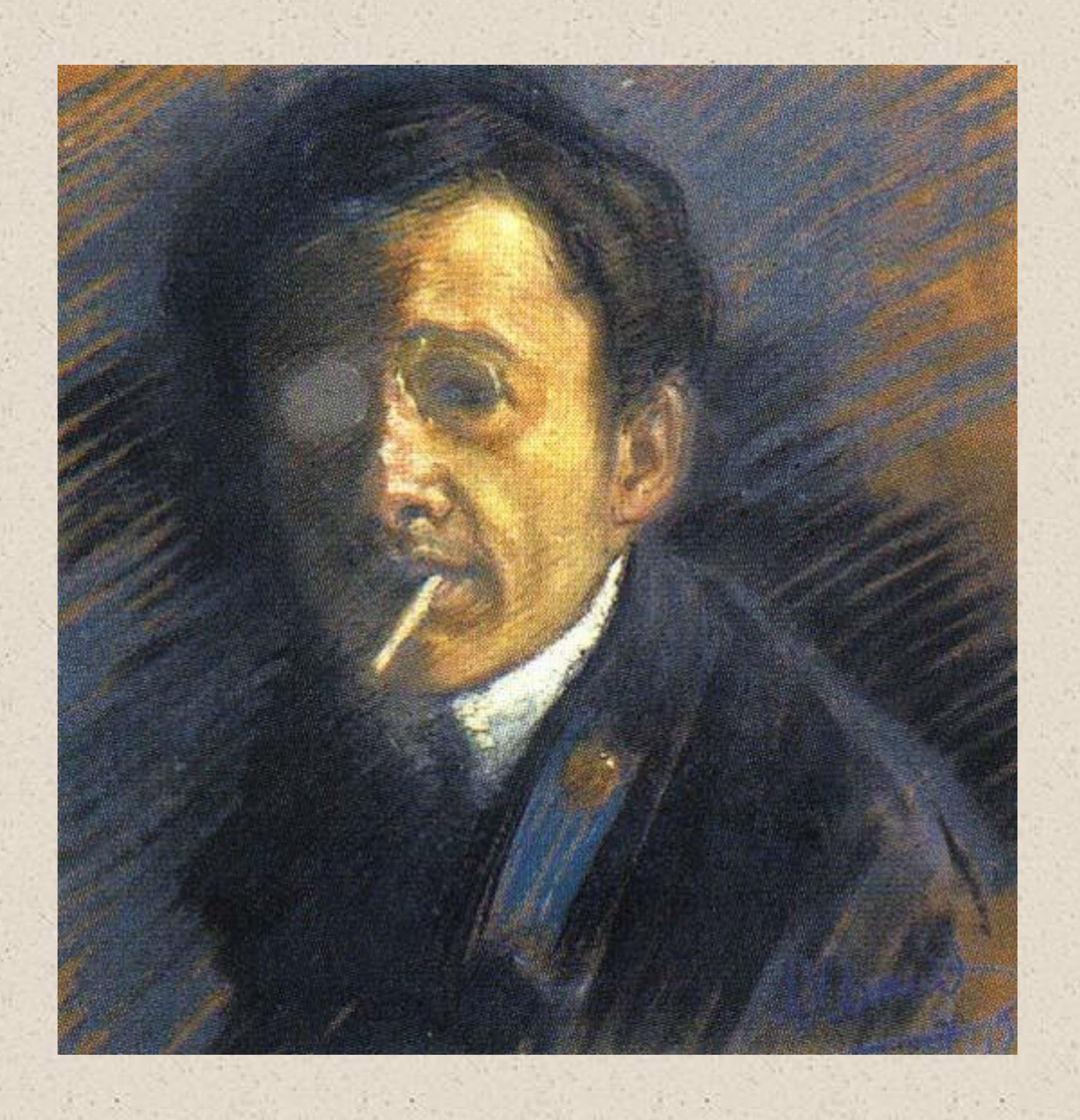
Записываю ВЕХУ «Писарь»

Писчее дело - не хитрое. Один из моих гимназических товарищей помог мне устроиться в казенное ведомство среднего звена, промышлявшее бумагооборотом между управлением А и подразделениями Б, В, Г и Д.

Знай себе, сиди в конторе, плюй в потолок, смотри, как за стеклом жужжат сонные весенние мухи, да к сроку составляй положенные бумаги. Отец одобрил мой выбор и обещал продолжать помогать мне первое время. Я снял маленькую квартирку под самой крышей в N-ском переулке, ответственно справлял службу и пописывал стихи, иногда издававшиеся в какой-нибудь литературной газетенке.

Постепенно от жалованья я скопил небольшую сумму, достаточную, чтобы своими силами издать книгу - пока еще тоненькую брошюрку, какими в изобилии пестрили прилавки букинистических киосков, но это был уже пусть маленький, но шаг к известности. Пишу себе ВЕХУ "Собственное издание".

Однажды на обеде в контору к нам заскочил маленький, ничем не примечательный человечек в серой шинели, с бесприметным, будто бы пустым лицом. По-дружески поболтал с начальником, а потом подсел ко мне, тепло поздоровался и говорил будто-бы приветливо, но в водянистых глазах его все время стоял какой-то стылый мрак, словно за свойской маской радушия прятался кто-то совсем иной - некий неведомый и опасный полуночный душегуб.



- Ты, брат, стишки-с сочиняешь? - будто бы между делом, спросил он, "с-ыкая" через каждое слово, будто старый лакей, - Стало быть-с, вхож в петербургский бомонд? Кружки-с всякие творческие, литературные вечера? Славно. Есть у меня к тебе по этому поводу одно денежное дельце, - тут я, конечно, не будь дурак, понял, что человек этот не абы откуда, а из полицейского управления, или даже из царской охранки, и что сейчас меня ненавязчиво, но уверенно вербовали. И возникли у меня по этому поводу весьма серьезные размышления. Так ли нужны мне были финансовые вливания и теневое покровительство власть предержащих - 5, или я не готов ради этих благ браться за грязную осведомительную работенку и становиться крысой в рядах братьев-поэтов? - 22

§78.

Я долго брел вдоль унылого берега, и вот, наконец, вдалеке замелькали крыши прибрежных строений. Здесь начинался пригород Петербурга — множество маленьких домиков, выстроенных по немецкому образцу еще при Петре, сиротливо и жалко жались к морю. Ближе всех подобрался на измель одинокий гордый маяк. Это была пестрая башенка из красного кирпича, предельно расчетливо распорядившаяся своим телом. Во флюгере у нее прятался сигнальный фонарь, центральный этаж служил вместилищем для смотрителя, а в подножии ютилось одно из тех портовых заведений, где в любое время можно было промочить глотку. Заприметив башню, я поспешил под вывеску, на которой изображались кружка с кучерявой шапкой пены и соседствующая с ней лукаво подмигивающая рыба. Иду на 56.

§79.

Строка: "В сердцах людей, прозрачны и ясны" - 3

Ваш светлый образ навсегда останется в наших стихах, Иннокентий Федорович. Человек невероятного ума, блестящий критик - однажды я удостоился чести оказаться в лучах его внимания. Анненский любил принимать у себя молодых поэтов и давал вдумчивый, глубокий анализ их произведениям, старался с чисто импрессионистским духом ощутить в себе продолжение творчества автора и развить. Тому визиту я впоследствии посвятил такие строки: «Я помню дни: я, робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка седеющий поэт. Десяток фраз, пленительных и странных, как бы случайно уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний - слабого меня.»

Иду на 150.

§80.

- Второй раунд! - объявил Коняшевич. - Дуэлянты, к барьеру! Выстрел снова переходит зачинщику. Продолжайте!

Я попытался собраться с мыслями. В этот раз нужно было выдать настоящую бомбу! От обилия выпитого перед глазами плыло и мысли спотыкались друг о друга. Встав в позу стрелка, я поднял руку с пальцами, сложенными в форме пистолета и прицелился в своего противника, изображая выстрел. Голос мой громом раскатился по залу. Но что за снаряд я приготовил?

Когда поэт, описывая даму,

Начнет: "Я шла по улице. В бока впился корсет",

Здесь "я" не понимай, конечно, прямо -

Что, мол, под дамою скрывается поэт.

Я истину тебе по-дружески открою:

Поэт - мужчина. Даже с бородою. - 164

Или

ДЕР ГИБЕН ГАГАЙ КЛОПС ШМАК

АЙС ВАЙС ПЮС, КАПЕРДУФЕН -

БИТЕ!.........

А вот глазами рококоча,

Глядит на вас с укором

РОКОКОВЫЙ РОКОКУЙ! - 293

Или

Убожество, рожденное в содоме,

Зачем вы появились предо мной?

Да сгиньте вы в колючем буреломе,

Не брызгайте в меня лукавый гной - 15

§81.

Теперь иду на 71.

§82.

Наконец, внимание обратилось к Гумилеву и сопровождавшей его барышне. Николай Степанович сидел, точно палка, в черном изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке и с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом парировал наскоки Иванова.

Вячеслав Иванович, подмигивая, указывал Гумилеву на беспредметность его убеждений и даже предложил своим подопечным самим сочинить для оппонента платформу: "Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, друзья, Николаю Степановичу сочините-ка позицию..." Начав с шутки, приспешники Иванова предложили Гумилеву создать поэтическое учение, которое дало бы ему правило для выражения его первобытно-сильного, мужественного взгляда в стихосложении и пародийно стали развивать сочиняемую позицию, а Вячеслав Иванович, подхвативши, ее расписывал. Выскочило откуда-то мимолетное упоминание библейского Адама: "Вы, адамисты, должны быть своенравными как наш первый предок". Гумилев, не теряя бесстрастия, отвечал, положив ногу на ногу:

- Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию - против себя - покажу уже вам "адамизм"! - и, не меняя лица и тона, стал читать:

Нет дома подобного этому дому!

В нем книги и ладан, цветы и молитвы!

Но, видишь, отец, я томлюсь по иному,

Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы...

То был его прославленный “Блудный сын”. Сказать, что поэма произвела воздействие разорвавшейся в комнате шрапнели - значит существенно умолчать ее мощь. Мы никогда не видели Иванова таким, как после прочтения. Его лицо стало иссиня-пунцовым, а сам он весь трясся от гнева и, казалось, сейчас зайдется в припадке. Гумилев прошелся и по самому мэтру, и по всей его “Башне”, и по отдельным завсегдатаям-лизоблюдам, и по всем царящим здесь вкусам. Великолепным эзоповым языком, так ценимым здесь, он преподал собранию его же собственных участников на изразцовом блюде поэзии под пряным соусом.

Вячеслав Иванович зло и осуждающе клеймил Гумилева сакральностью права для писателя использовать в своих произведениях традиционные и библейские темы, но в его речи сквозил яд личной обиды. Слова были столь резки, что больше походили на брань. Никто раньше от него не слышал столь грубой ругани, и это было потрясением для всех собравшихся.

Отказавшись слушать поток оскорблений, Гумилев со спутницей поднялись и вышли. За ними последовали еще несколько их друзей - молодых поэтов. Я же:

Я поднялся и вышел вместе с Гумилевым, поддержав, таким образом, его позицию - 17

Несмотря на то, что именно Гумилев позвал меня на этот вечер, я не желал потакать расколу в поэтической среде и остался с присутствующими - 72

Или решил еще подлить масла в огонь. Если у меня есть КЛЮЧ “Скандалист”, я могу перейти на соответствующую ему главу.

§83.

- Дуэль! Поединок! - тут же послышались радостные возгласы собравшихся. Все сразу забыли критиковать мою дурную выходку, предвкушая новую забаву.

Присоединившийся Коняшевич важно обратился к Латунскому:

- Вам брошен вызов, сударь. Принимаете?

Латунский растерянно озирался вокруг, несколько побледнев. Он явно не ожидал такого поворота. Человек много старше меня, наверняка он не был готов к такому оскорблению и к подобному исходу литературного вечера. Однако в большинстве своем собравшиеся были моими ровесниками и при том людьми горячими, а потому с радостью поддержали мою затею. И, да... честь безразлична к возрасту.

- Принимаю, - важно кивнул Латунский, поправляя пиджак.

- На чем изволите сразиться, господа?

Собравшиеся тут же засыпали нас предложения.

- На кулаках пусть дерутся!

- Ну, это как то жестоко...

- Пусть на стихах сражаются! Они же поэты!

- Или на кочергах! - в рифму хохотнул кто-то.

Что ж, выбор за мной:

на стихах - 68

или на кочергах - 62

§84.

Пишу ВЕХУ “Пролетарий”.

Вдохновленный революционной пропагандой, после гимназии я отправился работать на завод. Все мои прежние знакомые дружно восклицали: окончив гимназию и на фабрику - что за вздор? Для чего было потрачено столько лет и такие средства? Однако я очень сочувствовал трудовому классу и разделял идеи эсеров. Я дышал духом революции, и никакая сила не могла отвратить меня от сближения с рабочей средой.

На самом же деле жизнь заводских кварталов была невыносима, и только непрошибаемый налет романтизма позволил мне выжить в этой среде. Это было место скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые позже послужили материалом для Художественного театра при постановке "На дне". Помню яркие лунные ночи. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем несравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими рахитичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицыми, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек освещенного луною двора и подбирали какие-то бумажки, принимая их за

кредитки. Это было неописуемо ужасно. А бесконечная громадина завода отбрасывала черную коленкоровую тень своего навеса на кварталы, залитые голубым лунным светом, куда не отваживалась заглядывать даже полиция. Это была неуправляемая часть столицы.

Конечно, ни о каком издании своих стихов на те крошечные средства, что я получал, вкалывая на фабрике, не могло быть и речи. Вырученных грошей мне едва хватало что бы прокормить себя. В те годы я сполна хлебнул тягот бедняцкой жизни. Пишу ВЕХУ "Голяк" и иду на 200.

§85.

Строка: «Ручьев рыданья унимали до весны» - 5

- Как хорошо вы сказали про этот город, - тихо произнесла она. Взгляд ее внимательных глаз наполнился глубокой печалью и проникновенностью. - Поразительным образом вы уняли мою печаль.

Таинственная, романтическая натура барышни в вуали неотвратимо влекла меня. Такую женщину-загадку рисовал Блок в своей "Незнакомке". Но у него этот образ был наполнен множеством фантастических деталей - шляпа с траурными страусиными перьями, в кольцах тонкая рука - о человеке он говорил или призраке? - а здесь передо мной стояла живая и настоящая девушка. Отныне благоухание ее духов навсегда стало для меня ассоциироваться с чем-то сокрытым и непостижимым, словно бы пришедшим из детства. Драгоценная шкатулка дорогих сердцу образов пополнилась еще одним сокровищем.

Она уходила прочь - и я не смел остановить ее, спросить имени. Этот муар тайны и пустоты навсегда должен был остаться между нами. Пишу КЛЮЧ: "Незнакомка(86)" и иду на 150.

§86.

Строка: «В стяжаньи Рая все мы виртуозы» - 5

Одно из самых значимых событий моей литературной карьеры произошло совершенно внезапно. Мейерхольд взялся поставить мою пьесу, которую я воспринимал как центральное произведение всего моего творчества. Я создал ее в период творческого стиля, вдохновляясь образом своей таинственной незнакомки, встреченной когда-то. Пьеса писалась для предполагаемого театра-журнала «Факелы». Там, в публикации, Мейерхольд обнаружил мое творение, и оно сразу стало ему желанно. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к моему поэтическому восприятию. Без лишних разговоров, без особого разбора текста режиссер приступил к постановке.

Пьеса шла с десяти репетиций и зазвучала сразу. Мейерхольд сам совершенно замечательно, синтетично играл роль Пьеро, доводя образ до жуткой серьезности и подлинности. Невозможно передать то волнение, которое охватило нас, всех работавших над ее постановкой, на первом представлении. Когда были одеты полумаски и зазвучала музыка, это заставило каждого отрешиться от своей сущности. Я почувствовал, что кто-то стоит у моего плеча, и обернулся. Это была белая фигура Пьеро. Мне вдруг стало тревожно и неприятно: «Что, если он скажет что-нибудь обычное, свое, пошутит и разрушит очарование», но я тотчас же устыдился мелькнувшей мысли: Пьеро молчал. Мейерхольд, по-видимому, ощущал момент так же проникновенно, как и я. Его глаза смотрели через прорезь маски *по-иному*...

Послышался шепот: «Бакст пошел»,— это означало, что подняли первый занавес, расписанный Бакстом. Представление началось. В зрительном зале чувствовалась напряженная тишина. Тянулись невидимые нити от нас в публику и оттуда к нам. Музыка волновала и, как усилитель, перебрасывала чары моего творения в зрительный зал. Когда опустился занавес, все как-то не сразу вернулись к действительности. Через мгновение раздались бурные аплодисменты с одной стороны и протест — с другой, последнего было, правда, гораздо меньше. Вызывали особенно меня и Мейерхольда. На вызов с нами вышли все участвующие. Когда раздавались свистки,

усиливались знаки одобрения. Сразу было ясно, что это был необыкновенный, из ряда вон выходящий спектакль.

Многие потом бывали на постановке по нескольку раз, но была и такая публика, которая не понимала пьесу совсем и никак не принимала.

Если у меня нет ВЕХИ «Слава», пишу ее.

После представления пришла мысль отпраздновать постановку пьесы. Решили устроить вечер масок. Идея эта принадлежала нашим чудесным актрисам. Барышни решили одеться в платья из гофрированной цветной бумаги, закрепив ее на шелковых чехлах; головные уборы сделали из той же бумаги.

Вечер должен был называться «Вечером бумажных дам». Для мужчин заготовили черные полумаски. Нам было разрешено не надевать маскарадного костюма, обязывали только надевать маску, которую предлагали при входе каждому. Написали приглашение. Его текст, приблизительно, был следующий: «Бумажные Дамы на аэростате выдумки прилетели с луны. Не угодно ли Вам посетить их бал в доме на Торговой улице...»



Почти все барышни были в бумажных костюмах одного фасона. На Наташе Волоховой было длинное со шлейфом светло-лиловое бумажное платье. Наша прима в этот вечер была как-то призрачно красива, впрочем, теперь и все остальные казались чудесными призраками. Точно мерещились кому-то «дамы, прилетевшие с луны». Катюша Мунт с излучистым ртом, в желтом наряде, как диковинный цветок, скользящая неслышно по комнате; Вера Иванова, вся розовая, тонкая, с нервными и усталыми движениями, и другие. В полумасках все казались незнакомыми, новыми и молодыми в свете цветных фонариков. Танцевали, кружились, садились на пол, пели, пили красневшее в длинных стаканах вино, как-то нежно и бесшумно веселясь в полутемной комнате.

Было условлено говорить со всеми на «ты».

В нашей среде литературно-артистической богемы была некоторая непринужденность, но все же все были достаточно сдержанны и учтивы, такое обращение вошло в привычку, поэтому так жутко было говорить «ты», несмотря на маску. В самом начале вечера, когда еще все немного стеснялись и как-то не решались обращаться друг к другу на «ты», а если делали это, то по обязанности, через силу, меня рассмешил короткий диалог Катюши с Сюнкербергом. Она — по виду настоящая дама общества, он — господин в визитке, чрезвычайно сдержанный и учтивый. Они разговаривали на «ты» без улыбки о чем-то не относящемся к вечеру, серьезном, и получалось такое впечатление, что оба сошли с ума.

И в этом полумраке, среди других масок, в хороводе бумажных дам, я встретил ее - свою музу, белокурого ангела, ставшего первопричиной всей этой сказки. Ее фигурка, укутанная в лепестки кремовой бумаги, казалась самой призрачной из всех присутствующих образов. Наша встреча была мимолетной - я увидел свою незнакомку во время очередного танца - она кружилась то с одним, то с другим кавалером, и когда наша пара совпала, я только мог шепнуть ей: «Я узнал вас», а она лишь мелодично рассмеялась в ответ и нежно чмокнула меня в щеку. После окончания вечера я носился как оглашенный и спрашивал каждого, кто пригласил барышню в кремовом кринолине, как ее имя, откуда она взялась и куда пропала, но никто не мог дать мне вразумительного ответа. В совершенно растерянных чувствах иду на 201.

§87.

Строка: «В своих ужимках серы и гнусны» - 1

- Ах ты, порчак, - скривилась голь кабацкая, сунув руку в карман. Я еще не видел, но уже кожей чувствовал, как заиграет в пальцах у блатаря и запляшет блескучее перышко. Ох, как унылы, как скучны были в своих ужимках эти серые пройдохи. Ну чисто борзые на гоне! Вот и товарищи жигана подкатили — один крался слева, а другой встал у двери. Хорошо хоть за спиной у меня была стойка трактирная, а то несдобровать бы мне — ох, совсем несдобровать!

А дальше то что? Если у меня есть КЛЮЧ «Боец», иду на соответствующий ему параграф. Если такого ключевого слова нет, то я должен был быть мастаком темных дел, что бы разобраться с закрутившейся канителью. Вот, к примеру, такая проверочка. Знаю ли я, что такое вага?

Это тоже самое, что ватага - 120.

Это барышня легкого поведения - 55

Это фомка, воровской инструмент - 76

§88.

- Ай, молодец! - откровенно сказал кто-то. И тут закипело! Тут-то и понеслось!

- Вот это тонко! Вот подлец - поддел, так поддел! Вот это выкрутился! - послышалось отовсюду. Меня поздравляли с заслуженной победой, наперебой предлагали выпивку, затем подхватили на руки и под дружное "Гип-гип-ура!" несколько раз подбросили в воздух. Обратно, к счастью, тоже поймали. Это был заслуженный фурор. Так победоносно закончился тот вечер на даче у Коняшевича. Пишу себе ВЕХУ "Слава" и иду на 101.

§89.

Строка: "В те времена, когда роились грезы" - 3 (оценка)

О чем думал я в тот момент, когда впервые выходил читать свои стихи перед публикой? Уже тогда я мнил себя Поэтом с большой буквы, литератором, гением слова. Я чувствовал запал невысказанных слов в своей груди. В общем, если говорить честно, я был до предельности наивен. Но при этом артистичен и талантлив. Этого у меня было не отнять. Сжавшись и как бы весь сгорбишь, потупив взор, я немного выдержал паузу и неожиданно выстрелил в публику тугой пружиной пронзительного взгляда. Голос мой вырвался из горла проникновенным полушепотом-полуприсвистом и я декламировал:

Захотелось жабе черной

Заползти на царский трон,

Яд жестокий, яд упорный

В жабе черной затаен.

А затем, распрямившись и выпятив грудь, я уже открыто бросал в лицо зрителю обличительные слова. Но какие именно?

Этим ядом жаба брызжет

Выжигая в душах вязь

И клеймо ее не скроет

Лента белая, струясь. - 57

Или

Двор смущенно умолкает,

Любопытно смотрит голь,

Место жабе уступает

Обезумевший король. - 41

Или

Из какого ты болота?

Кто вскормил тебя, кадавр?

Не касайся ты оплота,

Или ждет тебя удар! - 26

§90.

Зал ликовал.

- Вот это остряк! Проехался, так проехался! Мокрого места не оставил! Так его!

Но и Латунский не оставлял своих позиций. У него тоже было готово едкое четверостишие про пьяного бегемота, возомнившего себя пианистом. Его выпаду публика так же бешено аплодировала, как и моему. Коняшевич записал нам по одному попаданию. Если у меня уже есть 2 очка, иду на 74, а иначе иду на 80.

§91.

Пишу ВЕХУ “Свободный литератор”.

После гимназии я долго перебивался случайными заработками, пока провидение не подкинуло мне, наконец, одну условно-постоянную работу. В те времена прибиться к какому-нибудь издательству, если у тебя не было громкого имени, считалось большой удачей. Для одной крестьянской газетки, которые так любили почитывать городские обыватели, ощущая свою причастность к народу, я часто выполнял разовые заказы, пока их редактор не предложил мне регулярную должность правщика.

Быть правщиком - значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма крестьян. Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления. Мне вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Я отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки. Я же поступил иначе.

Вылущив из письма самую суть, я создал совершенно новую газетную форму - нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти - пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной. Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли мой стиль и стали подражать. Таким образом возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии.

Постепенно от жалованья я скопил небольшую сумму, достаточную, чтобы своими силами издать книгу - пока еще тоненькую брошюрку, какими в изобилии пестрили прилавки букинистических киосков, но

это был уже пусть маленький, но шаг к известности. Пишу себе ВЕХУ "Собственное издание" и иду на 200.

§92.

Недолго думая, я присоединился к гостям. Помимо хозяина, здесь присутствовало еще несколько моих старых знакомых. Всего же общим числом на даче было ровно тринадцать человек, не считая меня. Говорили об искусстве.

- Нынешний стиль уже изжил свое! - восклицал Гумилев. - Нет того запала, той живости, что были ранее! Уходили от академизма - и что же? К академизму, почитай, и вернулись, когда надо бы искать иные формы, иные средства воплощения творческой идеи! Такие, каких никогда не бывало прежде!

- Так в чем же их искать? - с насмешкой вопрошали его слушатели. - В русских лубяных истоках? Или на Запад податься?

- Везде! - отвечал им ритор. - Всюду найдется необыкновеннейшее и наивосхитительнейшее чудо! В воздухе, на земле, в каждой былинке и в каждом живом существе! Нужно только иметь смелость видеть его! Почему бы, к примеру, не обратить свой взор на восток? Или на юг?

И вдруг он стал с чувством декламировать, сильно жестикулируя руками и делая выразительные паузы между словами:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Эта вспышка чистой поэзии оказалась настолько ошеломительной, что публика восхищенно рукоплескала в ответ. Один за другим все брались высказывать свои мысли:

- Впитав в себя со школьной скамьи дух ленивой авторитарности, мы никогда не пытались дать себе отчета о той воистину революционной роли, которую для своего времени сыграл хотя бы охальник Пушкин, принесший в офранцуженные салоны по существу самую простонародную частушку, а теперь он, через сто лет, разжеванный и привычный, сделался аршином изящного вкуса и перестал быть динамитом!

- Потому-то нам и следовало бы создать такую поэзию, которая по своему размаху однозначно переплюнула бы новаторство Александра Сергеевича! - говорили присутствовавшие. А что же я? Как я высказывался по данному поводу?

"Работа с многозначностью и есть та новая струя, которой не хватало русской словесности. Придавая слову неведомую прежде подвижность и глубину, мы учимся слушать звучание стиха - и строить его как завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек. Эта вновь обретенная свобода - не паханное поле, которое всем нам возделывать и возделывать" - 110

"Человек, совершенно испорченный библиотекой и музеем, не представляет больше абсолютно никакого интереса для поэзии. Нас интересует твердость стальной пластинки сама по себе, то есть непонятный и нечеловеческий союз ее молекул и электронов. Теплота куска железа или дерева отныне более волнует нас, чем улыбка или слеза женщины" - 58

"Нам следует искать то, что утрачено поэзией давным-давно - жизненную силу, заключенную в слове. Именно этот метод способен привнести в стихосложение невиданное доселе созвучие строф со струнами человеческой души. После всех "неприятий" мир должен быть бесповоротно принят во всей совокупности своих красот и безобразий" - 29.

§93.

Куда я решил бежать?

В Африку. Не так давно Гумилев сетовал, что партнер, который должен был отправиться с ним на днях в экспедицию, внезапно заболел и не может принять участия в путешествии. Существовала некоторая вероятность, что он смог бы взять меня с собой в странствие на Черный континент - 185

Во Францию. Ах, милое сердце Франции! Путешествие по железной дороге очень затратно, но в этой стране я буду не одинок. Товарищ по гимназии, живущий там, возможно, сможет приютить меня на время. Кроме того, кто из нас не мечтал о Париже? - 248

§94.

Я вышел на лестничную клетку и вынул портсигар. Там, в обители плохо выкрашенных стен и гулкого кафеля, было уже изрядно надымлено. У перил скучал маленький человечек в сафьяновом сюртучке. Его высокий лысеющий лоб тускло отблескивал в свете электрического рожка. Это был один из башенных обитателей. Я видел его среди гостей, но не знал по имени. При моем появлении человечек торопливо вложил в прищуренный глаз монокль и с интересом воззарился на меня.

- Тоже сбежали? - спросил он. - Удручающее зрелище - эта нынешняя поэзия, не правда ли?

- Плесень худовялая, - резюмировал я, кивнув в сторону "башенной" квартиры.

Мой собеседник глухо засмеялся.

- "Худовялая!" Блестяще! Я бы даже сказал - худоклеклая! - тут уж настал мой черед довольно смеяться. Мы с неведомым карликом явно сошлись на почве общей любви к сочинительству небывалых эпитетов.

- А пойдемте шляться! - внезапно предложил он.

Если я поддерживаю это предложение, то иду на 53. Если я решил вернуться и дождаться представления, обещанного Гумилевым, иду на 82.

§95.

Строка: "Рубленых

рифм

раскатить бы грозы" - 1

Я слышал, как затихает стук шаров на бильярде. Я видел блеск в глазах этих громкоименных людей. Нате, вам, гидра! Подавитесь!

Они в восторге. Я честно выдержал бой, и мне пододвинули стул, приглашая за свой круглый стол. Я был на равных принят между ними. Там я впервые познакомился с Хлебниковым, великим поэтом, председателем земного шара, писавшим гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке на клочках бумаги, которые он без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди. Там я узнал и левейшего из левых, самого непонятного из всех русских поэтов-будущников, автора легендарной строчки "Дыр, бул, щир", заряженного неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии - Алешу Крученых.

В этой салонной среде, между бильярдом и столиком, за которым заседал "Бубновый валет", под вездесущим присмотром Бурлюка, опекавшего нас, мы начинали творить новую эпоху русской

словесности. Мы созидали масштаб будущего. Пишу КЛЮЧ "Будетляне(139)", ВЕХУ "Слава", если у меня ее нет, и иду на 3.

§96.

Строка: "Ручьев рыданья унимали до весны" – 5

Зима успокаивала звонкое рыдание ручьев, укутывая их своим белоснежным махровым одеялом. Так и я хотел укутать, успокоить мою бедную Лизоньку.

- Не плачьте, - говорил я. - Я люблю вас! Всем сердцем люблю!

На что уповал я в тот момент? Что мое признание успокоит ее? Что мое чувство как-то сможет усмирить ее душевные терзания?

- Не смейте! - воскликнула она. - Не говорите так! Это голос жалости, а не вашего искреннего чувства. Вам просто стало жаль бедную умирающую девочку.

Ах, Лизонька! Как прекрасно, как пламенно было в тот момент ваше лицо северной валькирии, каким праведным гневом сияла каждая черточка вашего идеального лица!

- Но это правда! - говорил я. - Я без памяти люблю вас с того самого момента, когда впервые увидел! Мое чувство не имеет ничего общего с жалостью.

- Тем хуже, мой бедный принц, - отвечала она. - Что буду я чувствовать в свой смертный час, зная, что оставляю страдать в одиночестве любящее сердце, обрекая его на вечную разлуку? Во сколько крат эта мысль отяжелит мои последние мучения? Прошу вас, уйдите, оставьте меня! Забудьте прямо сейчас! Так будет легче для нас обоих!

Никаких слов не хватило мне, что бы переубедить мою милую Лизоньку. Мой белокурый ангел был холоден и неприступен. Так мы расстались - я с разбитым сердцем, а она с отравленной душой - может статься, что навсегда. Иду на 150.

§97.

Строка: «В сердцах людей, прозрачны и ясны» - 3

Я смотрел в кривые, исковерканные тяжелой судьбой лица — и видел за ними светлую сущность этих людей, ощущал невероятное родство и близость с ними. Пусть дела и руки их грязны, как сажа, пусть на языках лишь матюги и охальщина, чувства! - чувства в сердцах этих людей были прозрачны и ясны, как первая мартовская лазурь, как дымок от березовых дров, как озерный ледок. Любя всем сердцем этих простых русских людей, я пил с ними. Нажирался до самого утра, ощущая, как постепенно и моя душа становится такой же чистой, избавленной от выжимки творческих мук, и готовой к новым деяниям. Иду на 150.

§98.

Строка: "Я помню зим колючие морозы" - 5 (оценка)

Отказывался я читать свои стихи не только из природной скромности. Тема, оглашенная Коняшевичем, была для меня невероятно болезненной, и потому стихи, посвященные ей, я воспринимал очень лично. Русско-японская война унесла жизнь моего старшего брата. Он служил мичманом во Владивостоке. Ледяные воды Японского моря раз и навсегда сомкнули над ним свои тяжелые волны. Поэтому я хорошо помнил черную трагедию той зимы девятьсот пятого, когда наши солдаты потерпели сокрушительное поражение в Цусимском сражении.

Я долго упрямился, но публика, вдохновленная предвкушением зрелища, взялась рьяно меня уговаривать. Не выдержав натиска, я вышел в круг, ощущая себя расстрельным перед исполнением приговора. Слова мои, без предисловий и вступлений, зазвучали неожиданно проникновенно и твердо, разом установив в гостиной полную тишину:

Шли на приступ. Прямо в грудь

Штык наточенный направлен.

Кто-то крикнул: «Будь прославлен.»

Кто-то шепчет: «Не забудь!»

Стальные клинья взглядов вперились в мою трепещущую грудь. Сходу я взял высокую планку. Нужно было и дальше держать позиции. И я продолжал читать. Но хватило ли у меня смелости открыть сокровенное? Не переврал ли я заветные строки? Как я продолжил тогда?

Заплутавшие скитальцы

Жертвы воли ледяной.

Чу! И вдруг разжались пальцы

Выпал крест из них стальной. - 26

Или

Рядом пал, всплеснув руками,

И над ним сомкнулась рать.

Кто-то бьется под ногами,

Кто — не время вспоминать... - 41

Или

Обагрилась кровью площадь

На булыжнике лежит

Знамя мирное! И лошадь

Вскачь по белому бежит – 57

§99.

Ну и где меня на сей раз угораздило вляпаться в потасовку?

Мне повстречался возлюбленный моей апашки - 126

Проводил разъяснительную беседу с Маком - 156

Решил ввязаться в бой вместе со своим командиром - 289

Я попытался стереть отпечаток Поцелуя Смерти со своей щеки - 274

§100.

Когда я окончил читать, послышались жидкие хлопки. С места встал Латунский – он, по обыкновению, начинал обмен мнениями.

- Нуууу, что же, тоже поэзия. Размер присутствует... И образность... Наивно очень, ну какой же молодой автор не начинает свой путь с поверхностного изложения. По правде сказать, не знаю, есть ли у вас будущее как у поэта, но в первую очередь я бы посоветовал вам слушать. Слушать и читать, набираться опыта - а уж потом придет и собственное понимание предмета.

Следом послышалось еще несколько подобных откликов. Я почувствовал, как начинает мелко дрожать у меня нижняя губа. И

как становится мокро у меня под левым глазом. Это у меня непроизвольное, с детства, всякий раз бывает, когда я волнуюсь. То был нелегкий момент для меня. Дай Бог памяти, как я решил тогда поступить?

Уйти наверх и там прийти в себя в одиночестве - 28

Попытаться отстоять свою честь и честь своих стихов - 35

Выждать время и подобрать подходящий момент для мести - 59

§101.

После визита к Коняшевичу меня посетило внезапное вдохновение. Я стал писать. Одну за другой я марал линованные желтые тетради, выстраивая на листах неровные столбики стихов. Я почти ничего не помню больше о тех неделях - ни своей учебы, ни сна, ни еды - только свет лампы из-под абажура, скрип пера и целый мир, плещущий из меня на бумагу фиолетовыми разводами строк.

А потом запой волшебным напитком творчества окончился так же внезапно, как и начался. Но, как и любой пьяница, я не умел остановиться. Душа моя горела и просила еще.

Чтобы хоть как то развеять хандру бездеятельности и отыскать на дне сосуда дней еще хоть каплю сладостного зелья, я решил сменить обстановку и пуститься в странствие. Мой скромный бюджет и нехватка времени, разумеется, не могли мне позволить организовать настоящее путешествие, поэтому выбор ограничился Петербургом и предместьями.

Куда я направился?

К морю, дабы насладиться первозданным величием природы и ее девственным покоем - 128

В город, дабы ощутить на своей шкуре бурление и ярость жизни, кипящей вокруг - 36

Или на кладбище, чтоб среди каменных надгробий и философского уединения проникнуться ощущением бренности жизни и тщетности бытия - 189

§102.

Даааа, вот оно... то, что нужно. Пишу КЛЮЧ "Мастер слова(25)".

Сейчас я уже не смогу сказать точно - над ухом я слышал тогда шепоток своей музы, или ее лукавый голос доносился из земных недр... Но пока я уходил все дальше по улицам этого города мертвых, мне то и дело казалось, что я слышу из-под земли едва различимые голоса его обитателей. Мне не хватало смелости, чтобы остановиться и прислушаться, но это было пугающее и завораживающее вместе с тем действо - идти и слышать по сторонам еле различимый шум перешептываний. А может быть, это был лишь шорох ветра в кустарнике неподалеку...



Остановился я у одной старой могилы. Ее украшала скульптура - печальный ангел, простирающий ладонь к надгробному камню. На могильной плите мне удалось разобрать: "Елизавета Федоровна ..." Дальше различить было невозможно, металл был сильно поврежден временем. Отчего-то я сразу решил, что лицо ангела - портретная работа. Я вглядывался в безупречные черты лица, искаженного беспредельной скорбью. Если у меня есть ВЕХА "Лизонька", иду на 133, иначе - на 71.

§103.

Разузнав адрес, я поджидал Марию напротив парадной, скрываясь за широким платаном и смоля одну за другой суетливые папиросы.

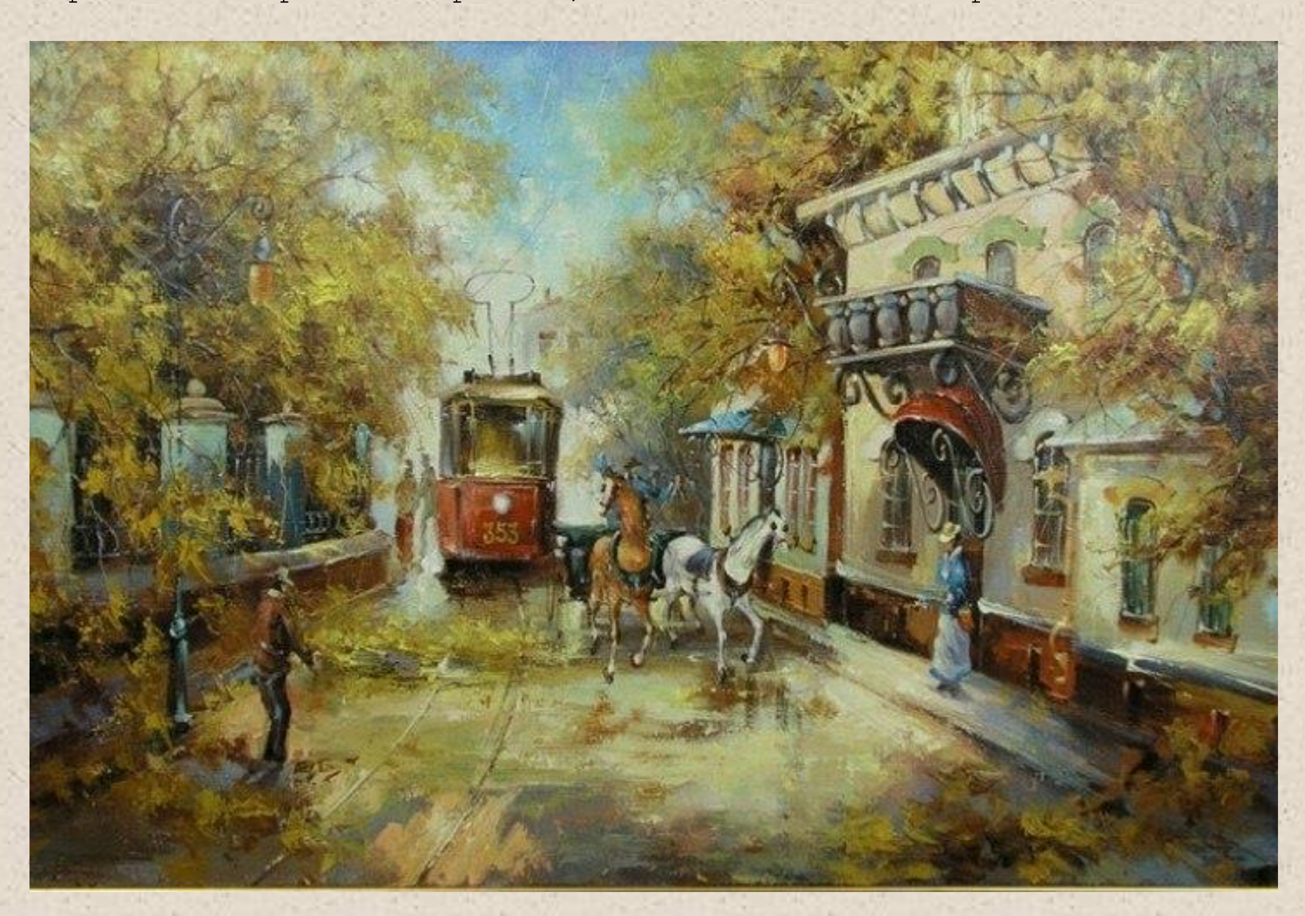
Когда Мария появилась, разом озарив своим присутствием улицу, я махом перескочил оживленный проезд и вмиг оказался с ней лицом к лицу.

- А я знал, что вас встречу, - деловито бросил я.

Мария с тревожной серьезностью взглянула на меня.

- Что значит знали? Вы караулили меня? - строго спросила она.

- Да, караулил, - без зазрения совести ответил я. Больше всего на свете в тот миг мне хотелось растопить ее напускную сердитость горячими строками, бьющимися в моем сердце.



Какие стихи обратил я к Марии, что бы раз и навсегда покорить ее огнем своей рифмы?

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг - 205

или

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я - весь из мяса,
человек весь -
тело твое просто прошу,
как просят христиане -
"хлеб наш насущный
даждь нам днесь". - 220

или

Ты знаешь, что тебя я понял необычно!
Я сразу увидал тебя иной, —
Иной чем все, — и с этих пор со мной
Остался навсегда твой образ неземной,
Глубокий безгранично... - 213

§104.

Старая русская история заканчивалась — начиналась новая. Стелясь в переулках крыльями, шарахались по своим пещерам гулко ухающие совы реакции… Первой исчезла куда-то не в меру догадливая Матильда Кшесинская, уникальнейшая прима весом в 2 пуда и 36 фунтов (пушинка русской сцены!); озверелая толпа дезертиров уже громила ее дворец, вдребезги разнося сказочные сады Семирамиды, где в пленительных кущах пели заморские птицы. Вездесущие газетчики утащили записную книжку балерины, и русский обыватель теперь мог узнать, как складывался поденный бюджет этой удивительной женщины: "За шляпку — 115 рубл. Человеку на чай — 7 коп. За костюм — 600 рубл. Борная кислота — 15 коп. Вовочке в подарок — 3 коп."

Императорскую чету временно содержали под арестом в Царском Селе; на митингах рабочих уже раздались призывы казнить «Николашку Кровавого», а из Англии обещали прислать за

Романовыми крейсер, и Керенский выразил желание лично проводить царскую семью до Мурманска. Под окнами дворца студенты распевали: “Надо Алисе ехать назад, Адрес для писем — Гессен — Дармштадт, Фрау Алиса едет «нах Рейн», Фрау Алиса — ауфвидерзейн!”

Голод и разруха проникли повсюду мгновенно. Имели место грабежи на улицах, неумолимо давал о себе знать дефицит дров и продуктов питания, начисто пропали привычные заработки.



Каким было для меня это время?

Если у меня есть КЛЮЧ “Революционер”, значит, я мог встать под знаменами рабоче-крестьянской Красной армии и воевать за укрепление зыбкой тогда еще власти советов.

Если у меня есть КЛЮЧ “Сын Отечества”, значит, я мог в составе белогвардейских дивизий, под командованием одного из легендарных генералов прошлого, пытаться спасти Россию из хищных лап красной бесовщины.

Если же я был индифферентен к политическим смутам и держался в стороне от политики, иду на 106.

§105.

Какими стихами решил я удивить публику в момент моего принятия в Цех?

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит...
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало. - 184

Или

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки
О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона... - 161

Или

Скрипят железные крюки и блоки,
И туши вверх и вниз сползать должны.
Под бледною плевой кровоподтеки

И внутренности иссиня-черны.

Все просто так. Мы — люди, в нашей власти
У этой скользкой смоченной доски
Уродливо-обрубленные части
Ножами рвать на красные куски. - 117

§106.

Мы с моим другом, единственным и самым преданным, задумали бежать из голодного и холодного Петрограда в Москву. Там нас обещали пристроить на работу в издательство российского телеграфного агентства. Кроме того, в петроградских кругах ходили слухи, что скоро правительство перенесут в Москву, поэтому, поразмыслив, мы твердо решили: ехать.

Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе: без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки для того, чтобы не умереть с голоду.

Вообще-то, мы обычно питались по талонам три раза в день в привилегированной, так называемой, вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба, а, кроме того, утром - кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед - какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером - опять ту же ячную кашу, но только сухую и холодную.

Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦИКа.

Жить можно!

Но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели.
Мы жили в бывшей гостинице "Россия", называвшейся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало. В конце-концов мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков, а сухую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно.

Есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем. И мы молча шли сквозь адский зной августовского полудня в изнемогающий от жажды, безлюдный, пыльный городской сад или даже, кажется, парк - не все ли равно, как он назывался? - шаркая босыми ногами по раскаленному гравию дорожек, и падали на дотла выгоревшую траву совсем желтого газона, несколько лет уже не поливавшегося, вытоптанного.
Мы лежали рядом, как братья, лицом к неистовому солнцу, уже как бы невесомые от голода, ощущая единственное желание - курить. На дорожках не нашлось ни одного окурка. Мы как бы висели между небом и землей, чувствуя без всякого страха приближение смерти.

Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:

Мы с трудом поднимались и брели в свою осточертевшую нам гостиницу. На что-либо еще сил совершенно не хватало. Потом мы лежали на твердых кроватях и, желая заглушить голод, громко пели, не помню уже что - 113

Мы кооперировались с нашими соседями по гостинице, одновременно являвшимися товарищами по цеху, скидывались последней мелочью так, чтоб вышло хотя бы рубля три, и нас с другом, как самых ответственных и обязательных людей, отправляли играть в рулетку, чтобы сделать хотя бы червонец - 180

Я шел на базар и продавал свое самое сокровенное имущество - те немногие вещи, которые были неразрывно переплетены со струнами моей души. Папины часы, доставшиеся мне в наследство, книги, старинные монеты - драгоценная детская коллекция. Но мне не было дела до собственного желудка - с вырученными продуктами я спешил на квартиру к своей возлюбленной, поселившейся с мужем в Басманном переулке и медленно, но верно погибающей там от голода (это возможно в том случае, если у меня есть ВЕХА "Анечка" или "Лили") - 162

§107.

Строка: "Кудахтать брось про белые березы" - 1

Кресты. Такое название было дано тюрьме потому, что коридоры, по сторонам которых размещались камеры-одиночки, располагались крестообразно, а вверху над ними вздымался купол. Здание являло

собой огромную двухкорпусную махину. В каждом корпусе находилось по 500 камер. Из камер нижнего этажа выход был на обширный коридор, из камер же верхних этажей выход вел на дорожки-карнизы, защищенные железными перилами. На высоте первого этажа подвешивались веревочные предохранительные сетки.

Я думаю, цель сеток была следующей. Содержащиеся в тюрьме лица нравственно много переживали. Некоторые не выдерживали душевных переживаний и готовы бывали кончать жизнь самоубийством. Высокие карнизы, по которым приходилось выходить иногда из камер, являлись средством к самоубийству. Быстрый, неожиданный прыжок через перила верхних этажей не давал возможности надзору не допустить человека до падения. Падение на бетонный пол часто оказывалось смертельным. Сетка же не допускала человека до пола и спасала ему жизнь.

При входе во внутренности тюрьмы было несколько комнат, которые находились в приличном состоянии: они стояли чистые и опрятные. Другую картину представляли высокие своды тюремных длинных коридоров. Они были угрюмы и мрачны. Стены стояли не белены. В коридорах клубилась зловещая тишина. Не слышно было даже шагов надзора. Мертвая тишина: камеры являли собой жилища заживо погребенных.

Старшие товарищи советовали мне напрочь забыть о том, что осталось за стенами. Думать - только о вечном, неспешном, все другие мысли травят и грызут изнутри. Однако я не слушал их. Много сочинял. В итоге вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям - при выходе отобрали. А то б еще напечатал! Выпустили меня только перед самой войной, когда содержать в тюрьмах толпы "несогласных" стало накладно для страны. Выхожу на 108.

§108.

В России перед войной началось смутное время. Царская династия чахла, все больше выпуская управление государством из своих анемичных ладоней. В Петербурге грибами после дождя повыскакивали в каждом закоулке подпольные кружки, тайные общества, партийные ячейки и революционные общества? Интересовала ли меня эта «вторая» жизнь города, волновала ли

меня политика – 287 или же я был индифферентен к царящим в головах смутам, и меня волновало лишь искусство? - 176

§109.

Строка: «А здесь весь год неспешно вянут лозы» - 5

Я подошел, учтиво представился, и мы разговорились. Белокурого ангела звали Лизонькой, и она оказалась из той же петербургской среды, в которой вращался и я. Вероятно, мы могли видеться с ней на одном из поэтических собраний. В Париже эта прелестная барышня отдыхала с родителями, находясь здесь на лечении, с папенькой Федором Ивановичем и матушкой Прасковьей Лукиничной, которым я, правда, так и не был представлен. Воспитанный в русской простоте белокурый ангел ужасно скучала в среде франкоговорящей публики и считала общество местных кавалеров чрезвычайно утомительным.

Лизонька была чудесным, задорным ребенком, мы вместе весело смеялись и шутили над французскими причудами и часто потом гуляли по паркам Монпарнаса. «Шумны вечерние бульвары, последний луч зари погас. Везде, везде все пары, пары – дрожанье губ и дерзость глаз»… Лизонька стала музой, вдохновившей меня на написание невероятных и пронзительных строк. Вечера, оканчивающие дни безалаберных прогулок, я проводил за пером и бумагой, сочиняя самые светлые и возвышенные свои стансы.

Благодаря Пьеру я усиленно печатался и даже выпустил пару книжек, напечатанных на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками и непривычным шрифтом. Если у меня нет ВЕХИ "Собственное издание", пишу ее себе.

На ниве упорного труда взошли первые плоды успеха. Мои стихи пользовались популярностью во Франции, а потом известность их дошла и до России. Если у меня нет ВЕХИ "Слава", записываю ее тоже.

Однако время благоденствия не было долгим. Близость войны делала жизнь во Франции все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия, и я решил уехать обратно в Россию. Мы слезно простились с моей Лизонькой и обещали обязательно найти друг друга в Петербурге. Пишу ВЕХУ «Лизонька» и направляюсь на 73.

§110.

- Ну что вы, батенька, - возражали мне. – Ваш символизм, заполнив мир „соответствиями", обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность.

- Роза хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще.

- Мимолетность, сиюминутность бытия, тайна, покрытая ореолом мистики - это все наносное. Проще надо быть, реальнее смотреть на вещи. Томные вздохи в полутьме изжили себя еще во время царскосельского ренессанса.

За этими разговорами аппетит публики к прекрасному разгорелся, сообща было решено оставить досужие споры и перейти к чтению стихов. Иду на 20.

§111.

Строка: “В своих ужимках сыры и гнусны” - 1

День делали,
Да день не делали,
Дела не доделали,
Головы-то целы ли?
Ляду дида надо ли —
Диду баню задали.
Динь-динь-динь, дини-динь…

На моих глазах наворачивались слезы. Этот человек научил нас совершенно новому стилю обращения со словом - использовать его не как образ, не как символ, не по прямому смысловому значению - но искусство слова-звука преподал он нам.

Мои собственные поэтические ужимки в сравнении с этим гением высокой словесности казались мне жалкими и глупыми, поэтому когда гимназистам позволили выступить у гроба с прощальными стихотворными строками к своему учителю, я развернулся и решительно зашагал прочь. Пока что мне нечего было сказать вам, но когда-нибудь, Иннокентий Федорович, твердо решил я, я превзойду вас! Иду на 150.

§112

Строка: «Кудахтать брось про белые березы» - 1

Кроме Валета Пик из всего поэтического карэ затею с разгромом выступления Чуковского более не поддержал никто. На следующий вечер мы вдвоем направились в Одесскую Филармонию - но уже не со служебного входа, как днем минувшим, а с парадного. Встретились в холле. Тут нужно заметить, что костюмов у меня не было никогда. Были две блузы - гнуснейшего вида. Испытанный способ - украшаться галстуком. Нет денег. Взял в лавке кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке - галстук. Очевидно - увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление делалось неотразимое.

Пиковый валет оценил мой наряд скептически.

- На выступлении ваша блуза выглядела впечатляюще, но теперь… Нас же не пустят в зал в таком виде!

В фойе неспешно прохаживался полицмейстер в белоснежном мундире, и мы нырнули от него под лестницу, ту самую, на которой давеча случилась наша встреча с Марией.

- Нет, ну без кофты совсем не то впечатление будет, - заступился за себя я. – А когда этот Чуковский только начнет разводить свою демагогию, я выскочу на сцену, и отвечу ему, как полагается!

- Милый друг, друг мой наилюбезный, - стал мне делать какие-то знаки лицом Пиковый валет.

Я обернулся и увидел подходящего сзади усатого гиганта в концертной тройке, который поздоровался с нами, обратившись к каждому по имени-отчеству. Пиковый валет отчего-то посмурнел и засуетился. Что бы окончательно развеять сомнения, я попросил усача представиться.

- Корней Чуковский, - отрекомендовался тот. Тут уж заскучал и я, живо вообразив себе, как подслушавший нашу беседу антрепренер сейчас закатит скандал и выдворит нас из филармонии. Однако Чуковский не стал закатывать истерику:

- Что бы сразу расставить точки над i, скажу: я ненавижу ту идеологию, которую вы отстаиваете, но ваше творчество, господа, мне очень и очень симпатично.

- А чем вам не угодили наши взгляды? - нахально спросил я, будто бы это он, Чуковский, приперся ко мне на выступление, а не наоборот.

- Они сосредоточили в себе самые отвратительные нигилистические тенденции, которые направлены на уничтожение гениальной лирики, коей в праве гордиться русская литература, - бледнея, отвечал Чуковский под наши смешки и едкие перемигивания. - Я подозреваю, вы и на меня хотели обрушить громы и молнии.

Теперь уже настал наш черед бледнеть.

- Именно так, - не юля ответил я. Терять было нечего.

- Тогда накиньте пиджак, - Чуковский стянул верхний элемент своей концертной тройки и протянул мне свой наутюженный черный полуфрак, сам оставшись в одном жилете. - Спрячьте свою желтую блузу - в ней вас в зал все равно не пустят. И пожалуйста - клеймите меня!

Зрители сидели, затаив дыхание, когда я ворвался на сцену в своей бунтарской блузе, выжигающей глаза в свете рампы. Те, кто хотел возмутиться - так и не решился. Это была настоящая сенсация: никто из пришедших не ожидал в своем родном захолустье увидеть на сцене битву именитых столичных поэтов в лучших традициях петербургского бомонда. Вечер удался и, хотя, это событие не сделало нас закадычными друзьями, между нами навсегда остались теплые чувства собратьев по цеху. На следующий день мы с поэтическим карэ продолжили наше путешествие, и вскоре вновь были в Петербурге. Иду на 108.

§113.

Строка: "Но не прельщают сладкие прогнозы" - 5

Откуда-то с улицы доносились звуки дряхлой дореволюционной шарманки, надрывавшие сердце, усиливавшие наше покорное отчаяние.

Из коридора иногда слышались "...шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор"...

Это проходили постояльцы гостиницы, по преимуществу бывшие военные, еще не снявшие своей формы, ныне Советские служащие. Звук этих шагов еще более усиливал наше одиночество.

Но вдруг дверь приоткрылась, и в комнату без предварительного стука заглянул высокий красивый молодой человек, одетый в новую, с иголочки, красноармейскую форму.

- Разрешите войти? - спросил он, вежливо стукнув каблуками.

- Вы, наверное, не туда попали,- тревожно сказал мой друг.

- Нет, нет! - воскликнул, вдруг оживившись, я.- Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы. Как у Бетховена!

- Вы такой-то? - спросил солдат, обращаясь ко мне по фамилии.

- Ну? - не без торжества заметил я.- Что я тебе говорил? Это судьба! - А затем обратился к молодому солдату, - Да. Это я.

- Я, конечно, очень извиняюсь,- произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату,- но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нила Георгиевича, и я бы очень хотел заказать вам стихи. Вполне добродушные экспромты, если можно, с мягким юмором... На некоторых наиболее важных гостей... командиров рот, их жен и так далее... Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист, но в последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность и будут считаться как бы моими... Обычно я имею успех... и это очень помогает мне по службе.

Молодой человек заалел как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи. Молодой интендант делал себе карьеру души общества, выступая с заказными стихами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства.

Я сразу это понял и сурово сказал:

- Деньги вперед.

- О, какие могут быть разговоры? Конечно, конечно. Только вы меня, бога ради, не подведите,- жалобно промолвил молодой

человек и выложил на кровать целый веер розовых миллионных бумажек, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки.

- Завтра я зайду за материалом ровно в семнадцать ноль-ноль. Надеюсь, к этому времени вы уложитесь.

- Можете зайти через тридцать минут ноль-ноль. Мы уложимся, - холодно ответил я. - Тем более, что нас двое.

Можно себе представить, какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком, причем я время от времени восклицал:

- Бог нам послал этого румяного дурака!

Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы по глечику жирного молока, вернулись в свою гостиницу и быстро накатали именинные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма.

Наши опусы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании, и он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты.

Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, говорили: "Хоть бы пришел наш дурак!" И он тотчас являлся как по мановению черной палочки фокусника. Если у меня есть ВЕХА "Слава", иду на 116, иначе иду на 190.

§114.

Надписи и неуклюжие стихи на могилах — чтение увлекательное и совсем не монотонное. Это не что иное, как попытка материализовать и увековечить эмоцию, причем попытка небезуспешная — скорбящих давно уж нет, а их скорбь - вот она:

«Покоится здесь юноша раб божий Николай.
От мира и забот его призвал Бог в рай».

(От безутешных родителей почетному гражданину отроку Николаю Грачеву.)

Или совсем нескладно, но еще пронзительней:

«Покойся милый прах в земных недрах,

А душа пари в лазурных небесах

Но я остаюсь здесь по тебе в слезах».

(Уже не прочесть, от кого кому.)

Но любимая моя эпитафия, украшающая надгробье княжны Шаховской, не трогательна, а мстительна: «Скончалась от операции доктора Снегирева».

Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ваша-то могилка? Ох, вряд ли. А тут вас до сих пор поминают, пусть и недобрым словом.

В глубине кладбища я замечаю одинокую фигуру - женский силуэт, трагически белеющий среди черных надгробий. Кажется, особа эта весьма молода и наряд ее совсем не соответствует выбору, который обычно делают из своего гардероба дамы, желая посетить столь скорбные места. Ее романтический образ интригует меня, щиплет душу желанием проникнуть в тайну этой женщины в белом. И я:

рискнул приблизиться к ней - 47

или, по-прежнему не желая разрушать своего уединения, продолжил путь в одиночестве? - 61

§115.

Франция оставляла двоякое ощущение в душе. Ее завуалированная грусть, бесконечный пир во время чумы, ее вечная и такая неуловимая весна оставляли щемящее чувство в груди - только садись и пиши под такое настроение. Однако за внешним блеском и белизной крылась кислая прокисшая начинка.

Париж был наводнен мелкой французской буржуазией, так что даже глаза уставали смотреть на уродливых мужчин и женщин. От такого контингента трудно найти пропитание, в ресторациях подавали лишь всякие отбросы с перцем. Да и вообще, надо сказать, что мне очень надоела Франция и хотелось вернуться в культурную страну - Россию, где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанья (хлеб и говядина), питье (чай и вода), кровати (не 15 аршин ширины), умывальники (там были тазы, из которых никогда нельзя было вылить всей воды, вся грязь оставалась на дне); кроме того - на поганом ведре обычно еще и оставлялась покрышка - для издевательства над тем, кто хотел бы умыться, это ведро, единственное на этаже, задвигалось далеко под стол, и чтобы достать его, приходилось долго шарить под столом; наконец, когда ведро выдвигалось, покрышка скатывалась, и все блохи, которые были утоплены в ведре накануне, выскакивали назад и начинали неистово кусаться.

Через неделю из курорта в Биаррице вернулась жена Пьера, очаровательная Лили. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Наблюдая царящую вокруг нелепость лиц и типажей, я решительно не понимал, где Пьер умудрился отыскать такой бриллиант. В ней не было ничего от этого мелкопоместного дворянства, так расплодившегося здесь, напротив - при взгляде на мою франкскую Минерву в голову приходили мысли лишь о принадлежности к королевской крови. Ее светлые волосы и нордические черты лица будили воспоминания о древних северных завоевателях, покоривших эту землю много веков назад, и о наследии великих конунгов, отплывших отсюда на Запад склонять гордый Альбион. Все мои мысли, все написанные строки того времени принадлежали лишь одной Лили.



И я решил:

С головой отдаться вспыхнувшей страсти, не взирая на узы дружбы, потому как я не мыслил своей дальнейшей жизни без Лили – 125

Или отринуть порочные мысли, работать за столиками в кафе, на скамейках в парках, на бортиках у фонтанов – лишь бы избежать своего преступного влечения – 154

§116.

Эта забавная история закончилась через несколько лет. Я был уже состоятельным и именитым человеком и всегда останавливался в лучших номерах лучших гостиниц.

И вот, однажды, рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с моего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура московского дурака.

Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах, которые можно было бы назвать девичьими, если бы не усики и вообще не какая-то общая потертость – след прошедших лет.

– Здравствуйте. С приездом. Я очень раз вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я теперь служу здесь, и вообразите – какое совпадение: командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катю. Так что вы с вашей техникой вполне успеете. Срочно необходимо большое свадебное стихотворение, так сказать, эпиталама, где бы упоминались все гости, список которых…

– Пошел вон, дурак,– равнодушным голосом сказал я, и заказчика вдруг как ветром сдуло. Больше я его уже никогда не видел. Иду на 190.

§117.

Строка: “Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…” – 3

Это были мои “Мясные ряды”. Я написал это стихотворение, чтобы преподнести Гумилеву его желаемый “отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности и красочности”. Произведение было материальным, вещественным, за основу его был взят самый грубый,

антипоэтический материал, при этом я вовсе не старался его опоэтизировать. Наоборот. Я его еще более огрублял, ехидничая над Николай Степанычем. Это сближало меня с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения падаль.

Подобно многим другим стихотворениям, оно возвещало гибель нынешней власти и, вместе с ней, всего существующего уклада жизни.

Гумилев был в восторге. И хотя он не преминул возможности пройтись с иронией по моему ерничанью над ним, которое я замотал в свой откровенный натурализм, принятие меня в Цех было единодушным.

С тех пор я стал завсегдатаем в творческой мастерской Цеха. Когда меня забрили в армию, Гумилев лично помог мне оказаться в списках на «волчьи» билеты. Он тогда многим помог проскочить. Говорил: "Воевать должны солдаты. Литераторов нужно спасать" - хоть и сам потом ушел на войну. Если у меня есть ВЕХА "Анечка", иду на 171, иначе иду на 104.

§118.

Строка: "Моей любви, и славы, и весны! " - 3

Я решил придержать свой поэтический пыл и вместе со всеми пил и бранился, вынашивая планы мести. Какой-то чудак привлек к себе внимание, вскочив на стул, и простым невыразительным голосом читал скупые строки о происшедшем на площади. В них сквозила жестокость и абсурдность монархического волеизъявления, в них были откровенные и кардинальные предложения как поступать с таким глупым и деспотичным правителем, если он и впредь не пожелает слышать свой народ.

И тот собравшимся, подумав, так сказал:
"Кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит,
И если кто не глух, пускай он слово слышит,
А если нет, - кинжал!"

Студенческая братия рукоплескала ему стоя. Другой сумасброд, очевидно завидуя оратору, сорвал со стены портрет Николая II, пробил дыру в холсте на месте головы, надел раму на шею и так скакал по залу, крича, что теперь он - царь. Смутьяна быстро скрутили и отдали в руки полиции, но как ни глуп был его поступок, я был даже не на месте этого балагура. Как и все

прочие, я наблюдал за происходящим из зала, был тихим зрителем. Не мне восхищенные курсистки дарили свои надушенные букетики, и не меня всем миром выручали из лап полицмейстеров. Моменты моей и любви, и славы, и весны уходили в бездну несбывшимися мгновениями. Иду вместе с ними на 12.

§119.

- Есть три-с способа разгона демонстрации, - говорил мне мой безликий покровитель. - Я называю их гэометрическими. Первый из них - плоскостной. Выстрелы в толпу унимают любые возмущения и охлаждают самые горячие головы. К сожалению, этот метод полностью дискредитировал себе после января девятьсот пятого года-с.

Второй способ - вэкторный. Мы обнаруживаем в толпе протестующих зачинщиков сборища и ликвидируем-с их. Лишившись своих голов, эта гидра живет недолго. Такой способ на нынешний день является наиболее действенным-с. В его исполнении тебе и предстоит участвовать. Ты выяснишь, кто являлся воодушевителем этих бунтарей и раскроешь нам-с их личности. Дальше просто держись в сторонке и береги себя.

- А третий способ? - спросил я.

- Третий способ есть-с государственная тайна, и знать тебе его не по чину. Скажу-с только, что называется он Эвклид.

И вот я был уже в толпе протестующих. Отыскивал взглядами знакомых товарищей, перешептывался с ними, выведывал и вынюхивал, кто же является нашим негласным лидером. Конспирация у зачинщиков хорошая, большинство находилось на площади по приглашению друзей или вдохновленные прокламациями, распространенными в студенческой среде. Однако мне удалось найти приближенного из числа моих знакомцев, и он, по большому секрету, кивнул мне на заветных людей.

Вокруг клубились встревоженные лица, сияли горящие глаза. Не так давно я сам был одним из них - вечно голодным, нищим школяром, перебивающимся случайными заработками и беззаветно наслаждающимся каждым мигом жизни. Имел ли я право предавать их?

А это не предательство, это - соблюдение порядка. Собравшиеся на площади без санкции властей - бунтовщики, выступившие против самодержавного строя, своей вольностью они подрывали основы государственности. Содействовать прекращению волнений - мой долг гражданина - 49

Мое сопереживание этим людям настолько велико, что я решил поступиться своими обязательствами и не стал содействовать разгону демонстрации - 18.

§120.

«Не стал я дожидаться, пока перышко острое на свет божий покажется — подхватил свою кружечку да плеснул блатарю в лицо жгучим пойлом. Только и блатарь не пальцем деланный оказался. Что ему — пиво на роже. Облизнулся, будто кот, да засадил мне пику острую прямо под сердце. Посмотрел я на него в последний раз, да на свет божий в утлом оконце, и упал ничком на грязный трактирный пол».

На этом моменте я закрываю тетрадь и откидываюсь на спинку стула. Вдохновение не шло ко мне. Мой роман о поэте Серебряного века никак не желал сдвинуться с мертвой точки своей безысходности. Что ж, завтра будет новый день и, вместе с ним, быть может, новое начало... Или мне, все же, слишком дорог мой печальный герой, что бы вот так, невпопад, оканчивать его судьбу? Если я сумею пересилить себя и продолжить книгу, продумать бессонной ночью переплетения и тяготы судьбы, через которые пришлось пройти моему герою, что бы выкарабкаться, то могу записать ВЕХУ «Неудачник» и продолжить повествование на 150. А если такая ВЕХА у меня уже есть, то пишу себе так же КЛЮЧ «Поцелуй смерти(174)».

§121.

Товарищи по заключению отказались меня поддерживать. Они считали мою затею мальчишеством, сумасбродством и всячески разубеждали меня. Я уперся и стал голодать.

Много глупостей было мною сделано во время голодовки. Например, желая показать, что "ничто меня не берет", - я, выматывая силы, боролся во время прогулки с соседями по камере. А самая большая глупость была сделана утром на седьмой день голодовки. Ванна в тюрьме была вещью редкой. На три этажа тюрьмы была только одна ванна, и горячая вода в ней была один раз в неделю. Записавшись в очередь, ее ждали месяцами. Очередь моя пришла как раз во время голодовки. Я не хотел ее пропустить. Эффект от горячей ванны на ослабевший организм был молниеносный. Я начал терять

сознание, едва вылез из ванны и с величайшим трудом дополз до моей камеры. С этого момента силы стали стремительно падать, в конце одиннадцатого дня я еле держался на ногах.

Если бы я сидел в тюрьме при коммунистическом режиме - то, что я описываю, не могло бы иметь места: за попытку чего-то требовать, угрожая голодовкой, мне просто бы всадили пулю в затылок. В царствование Николая II-го правительство не прибегало к таким приемам, и вечером одиннадцатого дня голодовки, к общему удивлению, стало известно, что охранное отделение решило меня освободить. Действительно, в 6 часов следующего дня двери тюрьмы предо мною открылись, и через полчаса я был уже дома.

После узкой и темной тюремной камеры настоящее блаженство сразу перелететь в иной мир, в ярко освещенную комнату и, сидя в кругу друзей, уплетать огромные куски ветчины, смазанные горчицей.

Однако ощущение блаженства продолжалось не более получаса. Послышались шаги кого-то, быстро подымавшегося к нам на четвертый этаж. Резкий звонок, заставивший нас всех вздрогнуть, и в моей квартирке появился друг, наверное, самый преданный и подлинный из всех, что были у меня когда-либо.

- Да будет тебе известно, - сообщил он, - что тебя выпустили из тюрьмы только для того, чтобы снова арестовать и перевести в другую тюрьму, где твоя смерть - буде такая случись от продолжения голодовки, не произвела бы такого впечатления, как в Крестах. Что намереваешься делать - ждать нового ареста или удирать?

- Конечно, удирать.

- Тогда немедленно собирайся! Ты едешь во Францию, к Пьеру!

И я незамедлительно выдвинулся на вокзал, намереваясь добраться в Европе до единственной близкой мне души на всем западном пространстве континента, до своего верного товарища по гимназической скамье, обитавшего в самом сердце богемной столицы - Париже. Иду на 248.

§122.

Строка: "Прошли лета, и всюду льются слезы..." - 3

Хотя мои друзья и были людьми весьма молодыми, но являлись в то время уже солидными и женатыми господами, и посему экскурсия наша имела чисто познавательный и вдохновенческий характер.

Мы сели за столик невдалеке от эстрады, где горланили безголосые шансонетки. Подозвали робко проходившую мимо «барышню». Для некоторых из нас это был первый случай общения с «тем миром». На одного произвело столь такое сильное впечатление, что он после начал писать целую повесть в гофмановом жанре, героиней которой хотел сделать эту женщину.

Угостили ее, конечно. Барышня оказалась интеллигентной, окончившей гимназию, любящей чтение. Однако от известной героини купринской «Ямы» значительно отличалась: скромностью с одной стороны, непроходимой пошлостью обиходных своих понятий — с другой.

Кому-то из нас пришло в голову попросить нашу собеседницу определить, кто мы такие. Она покрутила головой и, взглядывая по очереди на каждого, говорила:

— Вы (обратилась она к Валету Червей) производите впечатление такое, что служите на определенном месте и получаете ежемесячное, небольшое, но верное жалованье.

Мы переглянулись, до чего метко она попала. Он действительно был тогда «чиновник».

—А вы, — продолжала она, указывая на Трефового Валета,— скорее что купец. Когда «подфартит», деньги у вас есть, а то и так сидите.

Валет Треф действительно нигде не служил; купцом хотя никогда не был, но происходил именно из купеческого новгородского рода. Денег у него, точно, частенько вовсе не ночевало. Так что и тут попала она почти в точку.

Но более всего изумились мы шерлок-холмсовской проницательности барышни, когда, взглянув на нашего Бубнового пажа, она сказала:

- А вы, сдается, так живете, сами по себе, со своего капитала. Ничтожный заработок Бубна, самого знаменитого из нас, в это время был притчею во языцех, и об этом дебатировали рабочие в уголке, отведенном для них одной тогдашней либеральничающей газетой. Он именно тогда «систематически тратил капитал», как рассказывал мне.

Потрясающе разобрала она и мою личность.

Тщетно, однако, допрашивали мы барышню насчет Валета Пик. Наружность его не давала никаких указаний для нового Шерлока в юбке. Беспомощно помотала она головой и отказалась определить социальное его положение — наотрез. «А о вас, господин, ничего не могу сказать, не знаю, не понимаю. Никогда таких не видала». Нам очень хотелось узнать, входит ли вообще в ее мозг понятие о писателях. Знает ли, освоилась ли с мыслью, что вообще существуют такие.

- А что нас всех объединяет, что между всеми нами общее? — допрашивали мы барышню.— Почему мы вместе?

Она отрицательно мотала головой. Тогда один из нас сказал, что мы - писатели. Она выслушала, похлопала глазами и как-то совсем скисла.

- Да, писатели? — машинально повторила она. Видимо - нет, никогда не задумывалась над вопросом о существовании таких людей. Впрочем, через минуту оживилась. Начала разговор о каком-то сочинении одного современного писателя, которое она недавно прочитала.

- А вот тот, которого вы приняли за рантье,— сказал Червовый Валет,— известный наш, знаменитый поэт Б. Читали вы его стихи?

Оказалось, читала.

- Нравятся?

- Нравятся. Я помню: «Девушка пела в церковном хоре...»

Говорила она все-таки без энтузиазма. Это была Соня Мармеладова, но как-то, очевидно, без семьи на плечах, как-то без трагедии... На следующий день мы продолжили наше путешествие и вскоре вновь были в Петербурге.

Иду на 108.

§123.

Строка: "Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране..." – 3

И вот я стал командиром батальона. Первая беда, навалившаяся на меня в этой должности - это падение дисциплины. Не стало той страны, в которой я когда-то проходил военную учебу, не стало и тех людей, которыми я был обучен командовать.

Мои гренадеры с улыбкой отдавали мне честь. Они почти подмигивали мне. Вероятно, я сам был виноват. Я слишком много

беседовал с ними. Около моей землянки целый день толклись люди. Некоторым нужно было написать письма. Другие приходили за советом. Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют "внучек". Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка. Зеркало для бритья. Исчезали конфеты, бумага. Надо бы всех подтянуть и приструнить.

И вот мы на отдыхе. Я спал в избе на кровати. Сквозь сон проскользнуло ощущение, что чья-то рука протянулась через меня к столу. Я вздрогнул от ужаса и проснулся. Какой-то солдатик стремительно выскочил из избы. Мне стукнуло броситься за ним с наганом в руках. Я был взбешен так, как никогда в жизни, кричал: "Стой". И если б он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.

Я подошел к нему. И он вдруг упал на колени. В руках у него была моя безопасная бритва в никелированной коробочке.

- Зачем же ты взял?- спросил я его.

- Для махорки, ваше благородие,- пробормотал он.

Как пришлось поступить с ним?

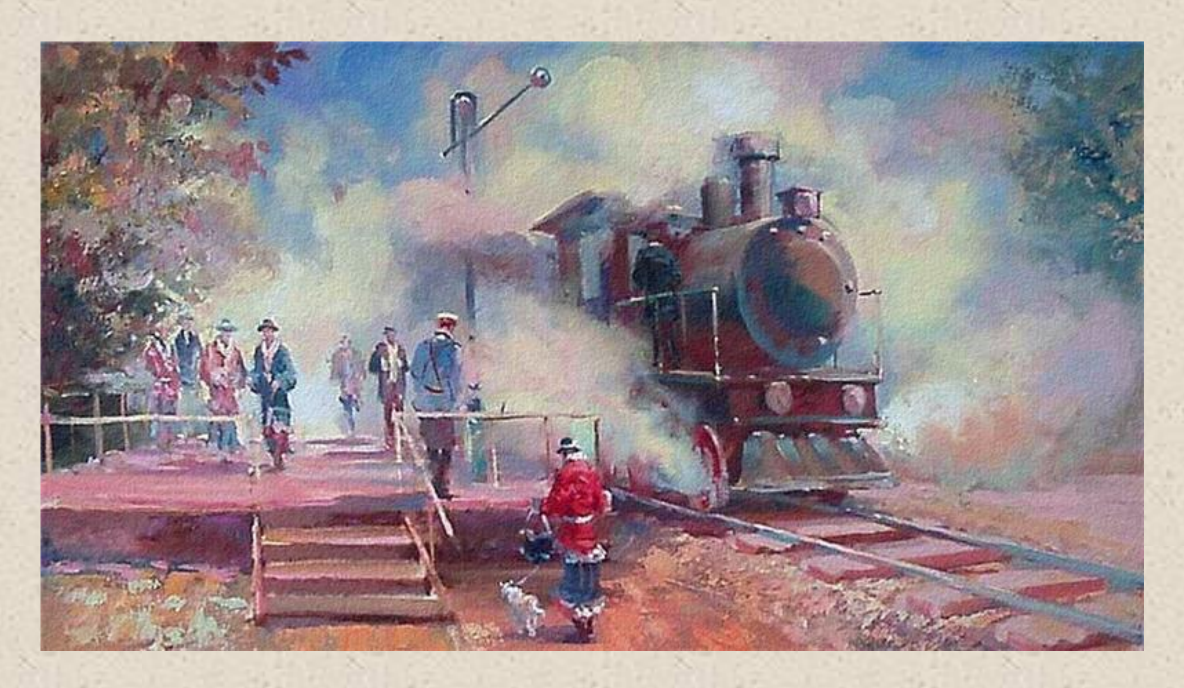
Я должен был наказать его, отдать под суд - и я отдал, как того требовало положение - 260

Или у меня не хватило сил этого сделать и я, махнув рукой, отпустил его - 284

§124.

Пишу ВЕХУ “Голяк”.

До самой Одессы я донимал Гумилева волновавшими меня вопросами про Африку: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев? Слегка улыбаясь, Николай Степанович утолял мой интерес готовыми репликами, которые ему, вероятно, приходилось повторять уже неоднократно для различных любопытствующих собраний. Он говорил, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, а я верил и не верил ему одновременно. Легенды, овевающие Черный Континент, крепко гнездились в моей душе, и даже рассказы бывалого очевидца с трудом разрушали их.



Гумилев мечтал пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, чтобы узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Но маршрут этот не был принят Академией как чрезвычайно дорогой, и в результате мы должны были отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты и Звай, дабы при наименьших затратах захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды.

Из Одессы на пароходе Добровольного Флота "Тамбов" мы вышли в море. Волны мягко раздавались под напором парохода, а там, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт, не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины.

Через два дня мы достигли Константинополя.
Направление маршрута: 229.

§125.

Чтобы рассказать о своем чувстве, я посвятил несравненной Лили строки, идущие из самой глубины моей души. Как выразил я свое восхищение ее холодной красотой? Как сумел я воплотить в строках не только слепое восхищение, но и ненависть к ее роковой природе, заставляющей перешагивать через дружбу и само благоразумие?

Не успокоена в покое,
Ты вся ночная в нимбе дня...
В тебе есть темное и злое,
Как в древнем пламени огня.

Твои негибкие уборы,
Твоих запястий бирюза,
И строгих девушек Гоморры
Любовь познавшие глаза – 155

или

Как сызмальства привыкшая к прудам
Красива ива,
Привыкшая сыздетства к зеркалам,
Она красива.
У ивы отыми родимый пруд —
Она завянет.
Лиши Ее зеркал на пять минут —
Ее не станет. – 265

§126.

Он возник внезапно, в переулке позади нас, когда мы, смеясь и обнимаясь, жарко целовали друг друга. "Замиранье, обниманье, рук змеистых завиванье и искусный трепет ног..." владело нами.

Должно быть, он долго стоял там - в тени балконов - невидимый призрак, снедаемый распалявшейся в его душе ненавистью. А затем он появился позади нас - ангел смерти, явившийся из преисподней и распростерший свои крыла.

Но и я был не промах - подлинный сын своей страны. Мы сошлись грудь в грудь на тесном пространстве грязной парижской улочки. Я сделал скользящий шаг вперед, не сводя глаз с направленного на меня клинка каленой андалузской стали в ладони противника, низко

пригнувшись над хищным блеском собственного ножа и держа его так, как будто он был продолжением руки.

Мы кружили друг против друга, неслышно ступая по грязи мостовой, напряженно ожидая, не раскроется ли противник хоть чуть-чуть, чтобы можно было нанести удар.

Апашка завороженно следила за нашим танцем. Я ощущал кожей влажное прикосновение ее взгляда. Апаш не выдержал первым, яростно рванувшись к моему горлу. Тут же он поплатился за эту ошибку - острие моей финки глубоко вошло ему в бок. Он упал на уличные камни, обливаясь кровью, и моя апашка бросилась ко мне в объятия, целуя меня в обрызганные кровью губы.

У ней есть друг. Он бьет.
Однако он любит, ждет.
Она затравленной собакой к нему ползет.
Когда же друг под гильотиной испустит дух
Она, ругнув его скотиной, полюбит двух...

Если у меня нет КЛЮЧа "Дебошир(99)", пишу его себе.

Время благоденствия во Франции было недолгим. Близость войны делала жизнь все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия, и я решил уехать обратно в Россию.

Если у меня есть ВЕХИ "Собственное издание" и "Слава", значит я возвращаюсь в Россию как герой, окруженный лавровым венком почета - иду на 73, иначе иду на 108.

§127.

На Кузнецком Мосту обдирали вывески с магазинов. Обнажали грязные, прыщавые, покрытые лишаями стены. С крыш прозрачными потоками стекало желтое солнце. Мне казалось, что я слышу его журчание в водосточных трубах. Я показывал Лили Москву, город, в котором она жила так долго, и который почти не знала.

- При Петре Великом, Лили, тут была Кузнецкая слобода. Коптили небо. Как суп, варили железо. Дубасили молотами по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого Моста?

Рабочий в шапчонке, похожей на плевок, весело осклабился:

- А вот, граждане, к примеру сказать, в Альшванговом магазине буржуйских роскошей будем махру выдавать по карточкам.

И, глянув прищуренными глазами на губы Лили, добавил:

- Трудящемуся населению.

Предвечернее солнце растекалось по панелям. Там, где тротуар образовал ямки и выбоины, стояли большие, колеблемые ветром солнечные лужи.

- Подождите меня.

- Слушаюсь.

В тридцать седьмой квартире жил знакомый ювелир. Лили попросила отвести меня к нему.

- Заброшу вашему мастеру один камушек. А то совсем осталась без гроша.

- У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять "прижизненного Пушкина".

Лили легкими шагами взбежала по ступенькам.

Я ждал. Старенький действительный статский советник, "одетый в пенсне", торговал в подъезде харьковскими ирисками. Наконец, Лили вышла.

- Теперь можем кутить.

Она купила у действительного статского советника ириски. Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путалось у нас в ногах. Казалось бы, ничем не примечательный вечер. Но за ним скрывалась совершенно незабываемая ночь. В эту ночь я окрестил Лили новым именем. Я назвал ее Лалой, в доме свиданий смывая с ее тела ледяной водой из ковша вместе с ее буржуазным прошлым и ее старое имя. Новый nomen, подаренный ей мною, был прославлен в страстных руладах восточными мудрецами. Нарекая ее так, я уподоблял нас легендарным любовникам - Мэджнуну и Лале, чью трагическую историю воспевали мастера Низами и Физули. От этого имени веяло жаром бескрайних пустынь, как и от нее самой, моей единственной... Это имя потом она вписала в свой советский паспорт, навсегда расставшись с жеманным прежним. Но избавление от прошлого таким символичным способом не решало насущных проблем. Я мог вырвать свою Лалу из рук Пьера, соединив нас узами христианского брака. Не взирая на общую немилость к церкви, сложившуюся в молодом советском государстве, церковный брак в умах все еще ставился выше, чем простая расписка. Но такое мероприятие требовало недюжинной смелости - 280. Или же я

мог продолжать ухаживать за Лалой, не вырывая ее из семьи, постепенно налаживая все более и более прочные отношения с ней и Пьером, и сам становясь этой семьей – 146.

§128.

Отпустив извозчика, я отправился в одиночестве бродить по берегу Финского залива. Стоял ненастный февральский день. Липкие тучи застилали небосвод до самого горизонта. Пенистые волны, набегавшие на берег, казались свинцово-черными в призрачном матовом свете. “Холодом дышит природа немая, бешено волны седые кипят...” Я спустился к воде. Насколько хватало глаз, в обе стороны пляжа тянулась пустынная песчаная полоса. Ветер овевал лицо ароматом безграничного простора и доносил усталые крики чаек. Их бледные силуэты расчерчивали грязную простыню неба над головой кривыми зигзагами.



Мыслей не было. Сырой воздух, наполнявший легкие, будил неясные образы - виделись то одинокий челн, скользящий по волнам, то далекая скалистая земля, проступающая на кромке неба в блеске нездешних вод. Я ощутил подъем, сказочное чувство полета. Внезапно и вот так, с ходу, мне удалось вернуть ту волну вдохновения, что так бессовестно отпрянула в отлив.

Окинув взглядом вдоль и поперек царящее здесь величие свободы, я увидел вдалеке, на вершине каменной кручи, одинокую женскую фигуру. Белый силуэт ярко выделялся на фоне серого песка и темных скал. И что же?

Я направился к одинокой незнакомке - 47

Вот оно! Писать! Немедленно писать, пока Гольфстрим вдохновения бурлит во мне! - 70

Промозглый ветер пробирал до костей. Я весь продрог. Мне вполне хватило впечатлений. Я решил, что лучше поищу место, где можно пропустить рюмочку да согреть кости - 78

§129.

Для меня наступило крайне отвратительное время. Меня нигде не печатали. Я находился в перечне людей, «не согласных с политикой партии». По ночам возле домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами и из этих домов бесследно пропадали люди. Я жил в постоянном страхе, что мой дом может оказаться следующим в их визитном списке.

О деятельности политического управления из уст в уста передавались страшные подробности. По рассказам лиц, побывавших в чрезвычайке, нередки бывали случаи, когда люди расстреливались просто для округления общей цифры за день, для получения четного числа и так далее.

Весьма часты также бывали случаи, когда заключенные расстреливались без всякого допроса. Случалось, что арестованный просиживал месяц, полтора и более в заточении - никто не допрашивал его, никто не вспоминал о нем, пока в один прекрасный день неожиданно не вызовут и сразу не поведут на убой.

Имели также место в советских застенках случаи расстрела "по ошибке". Таким роковым образом, например, по показанию родных был расстрелян народный учитель Антон Прусаченко вместо своего однофамильца Андрея Прусаченко, обвинявшегося в бандитизме.

Превосходным вариантом было бы сбежать из России прямо сейчас, но для этого требовалось либо разрешение наркома партии, либо большие деньги. Первый вариант для меня отпадал автоматически - никакой лояльностью в партии я не пользовался. Что же насчет второго варианта - если у меня нет ВЕХИ «Голяк», то я обладал достаточными накоплениями для того, что бы достать нужные бумаги и билеты, и мог эмигрировать за границу - выбирая этот вариант, я отправляюсь на 141. Если же у меня не было таких средств, или если я не хотел бросать свою Родину, не смотря на весь ужас ситуации, иду на 159.

§130.

Строка: «Пора бы распрямить нам сколиозы» - 1

- Без малевальщиков у нас тут как без рук, - спохватился Савицкий и выдал мне направление в Югрост - центральное республиканское учреждение связи, агитации и пропаганды.

Война и разруха шли вместе. Печатный станок не справлялся с требованием на плакат. Даже если и справлялся, то безнадежно затягивал, теряя агитационность. Например, был сдан в печать плакат «Последний час» к противопанской войне; за время печатания Польша отошла на второй план: вылез Врангель, пришлось изъять плакат из литографии и приделать баронову голову, и только после разгрома Врангеля висел плакат на стенах. Печатать можно было только пропагандистские плакаты, имеющие длительное значение.



Однодневка-агитка целиком перешла к «кустарям»-ручникам. Эти плакаты имели огромные достоинства.

Вместе с получением телеграмм (для газет, еще не напечатанных) брали «тему» — язвительную сатиру, стих. Ночь ерзали по полу над аршинными листами и утром, часто даже до получения газет, плакаты — «Окна сатиры» вывешивались в местах наибольшего людского скопища: агитпунктах, вокзалах, рынках. Так как с машинами считаться не приходилось, плакаты делались огромных

размеров — четыре на четыре аршина, многоцветные, всегда останавливающие даже бегущего.

Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.

Чтобы поспевать за событиями, сложившемуся у нас коллективу из трех художников нужно было работать очень напряженно и слаженно. С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией. От нас требовалась машинная быстрота. Бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом... Хотя "красочным" - сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне.

Этого темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности или о победе зависело количество новых бойцов.

Бросающиеся в глаза приемы мы друг у друга заимствовали, и нам тогда показалось бы диким, если бы кто-нибудь увидел в этом что-то зазорное. Один из нас первым решал новую задачу, а остальные потом пользовались этим решением. Я как-то придумал посадить на трубу разрушенного паровоза ворону. Получилось очень выразительно. Потом все, изображая разруху, стали рисовать таких ворон. Сам я заимствовал у своих коллег прием изображения дыма спиралью, как рисуют дым маленькие дети.

Пишу ВЕХУ «Красноармеец». По окончанию войны, я вернулся в Москву, к ее привычной суете, на 190.

§131.

- С вами так чудесно разговаривать, - сказала Мария. - Как будто встретила кого-то незнакомого, но невероятно близкого - того, кто в детстве читал те же книги, что и я, мечтал о том же, думал так же… Вы - потрясающий поэт! У вас - талант лирика.

В тот момент Мария была такой беззащитной, такой трогательной - хотелось прижать ее к своей груди и не отпускать больше никогда.

Послушался ли я своего порыва и обнял Марию - 227 или же я просто сказал ей: “Вы - удивительная женщина. Глядя на вас - я словно смотрю в зеркало, в котором отражается моя душа” - 222.

§132.



Здесь, в самом окончании этой повести, настало время сделать авторское отступление и внести читателю некоторые разъяснения. Эта книга была написана в форме автобиографии, но на самом же деле она является автобиографией лишь отчасти. Я, друг и соратник поэта, взялся закончить его незавершенный автобиографический труд и не стал перекраивать созданное рукой творца. Поэтому эта, по сути своей биографическая вещь, и получила такую необычную форму изложения.

Но эта форма вполне достойна моего героя. Она столь же причудлива, как и он сам, его творчество, и его жизненный путь. Это был человек, не вписавшийся в рамки своего века, вышедший за его границы, не понятый и не принятый, но оттого не менее великий. И подобно тому, как наш поэт не вписался ни в один стиль и ни в одно течение, эта книга не вписывается в заложенную изначально структуру круга, и в ее окончании не будет дымного парижского кабаре, с его гвалтом толпы и фальшивым блеском. Наш герой сумел бежать из этого ада и найти спасение для своей самобытности.

Куда он сбежал из пылкой геены нашего века? До Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, тоже отрекшимся от мерзостей быта. Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу

русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких друг. Он очень боялся умереть без покаяния. Поэт его утешал:

- Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра.

Друг выздоровел, но умер сам поэт. И его "отпели ветра". ...Кажется, он умер от дизентерии. Его последняя баллада заканчивалась строкой:

«Меня не сыщут средь лесных чащоб»

Впрочем, за достоверность этих сведений не ручаюсь. Так гласит легенда. Да и вообще - вся наша жизнь в то время была легендой. *(Ваш пасьянс не сошелся, но, надеюсь, это не помешало вам насладиться узором выложенных карт).*

§133.

Лизонька! Это же моя Лизонька! - осенило меня. И губы, и глаза, и вьющийся локон. Особого подобия добавлял белый алебастровый оттенок фигуры, передававший одновременно схожую бледность лица и льняной цвет прядей. Но как такое могло быть? Дальняя родственница? Просто похожая особа?

И тут я услышал, тихий, но очень отчетливый голосок, идущий из-под земли – этот голосок принадлежал моей милой Лизоньке: «Как луч тебя освещает! Ты весь в золотой пыли… И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли… Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь, легко обо мне подумай, легко обо мне забудь…»

Не выдержав, я бросился бежать не разбирая дороги. Позже, гораздо позже я не однократно возвращался на то кладбище и бесконечно бродил по его тропинкам, пытаясь вновь отыскать ту таинственную могилу - но, увы, безуспешно. Все, что мне осталось от той памятной прогулки - лишь драгоценные строки, которые сохранила моя память, бережно перенесенные на бумагу. Иду на 150.

§134.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 132.
Иначе иду на 166.

§135.

Нет! Все не так и все не то! Исполненный досады, я схватил свою неоконченную скрижаль и зашвырнул ее в холодную литейню моря. Потом я упал на колени и плакал, плакал от бессилья выразить бурлящую во мне волну чувств.

Насквозь продрогший и больной, я добрался до ближайшего перепутья, поймал там заплутавшего извозчика и вернулся к себе на квартиру. Еще несколько дней после я валялся насквозь больной — в жару и бреду. А как только ожил, тут же снова сел за стол и продолжил писать. Писать с новой силой. Иду на 150.

§136.

- Речь моя сделалась скудной, как только я увидел вас, - сказал я.

- Я столь неприглядна, что при взгляде на меня слова разбегаются словно букашки?

- Ваше присутствие вызвало такой сердечный трепет в моей груди, что сердце камнем встало в горле и перекрыло звук!

- Я так ужасна, что одним своим видом вызываю у вас сердечную недостаточность?

В ответ мои глаза метнули такие молнии, что незнакомка отшатнулась.

- Ты! Пришла — деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком!

Она смеется.

- А вы, оказывается, лирик. У вас на самом деле нежная душа, - она приблизилась, и ее пальцы в ажурной перчатке коснулись моей щеки. Не отводя взгляда от ее глаз, я притронулся к этим тонким пальцам губами, назвал свое имя.

- Ах, зачем вы все испортили, - вздохнула барышня за вуалью. - Это была такая красивая непосредственность! Имена обязывают совсем к иным отношениям. Они тяжеловесны и неуклюжи... словно ваши стихи! - она снова рассмеялась. - Прощайте! Может быть, мы еще свидимся с вами, чудо-поэт! - с этими словами она резким шагом удалилась прочь по улице, смешиваясь с толпой, оставляя меня в одиночестве с моими растрепанными чувствами. Пишу себе КЛЮЧ "Незнакомка(86)" и иду на 150.

§137.

Строка: "Прошли лета, и всюду льются слезы..." - 3

Париж превратился в мою творческую лабораторию. Я писал на ступенях Нотр-Дама, на борту ялика, идущего по Сене, у подножия «железной мадмуазели» Эйфеля.



Благодаря Пьеру я усиленно печатался и даже выпустил пару книжек, напечатанных на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками и непривычным шрифтом. Если у меня нет ВЕХИ "Собственное издание", пишу ее себе.

На ниве упорного труда взошли первые плоды успеха. Мои стихи пользовались популярностью во Франции, а потом известность их дошла и до России. Если у меня нет ВЕХИ "Слава", записываю ее тоже.

Однако время благоденствия не было долгим. Близость войны делала жизнь во Франции все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия. Мы с Пьером и Лили решили уехать обратно в Россию – я выдвинулся первым, чтобы облегчить своим отъездом их и без того скудный быт, они должны были приехать следом, как только Пьер уладит все свои дела во Франции. На вокзале в Париже мы тепло расстались – чтобы не увидеться больше никогда. Ее спустя полгода унесла чахотка, а его судьба стала одним из кирпичиков в фундаменте "Чуда на Марне" – первой французской победы в мировой войне. Иду на 73.

§138.

Строка: "Кудах-

тах-

тах!

За что все это мне?" – 1

– Слабовато, батенька, не дотягиваете пока, – сокрушенно говорил мне Гумилев. – Пока определим вас в мастеровые. Будем развивать и совершенствовать ваше стихосложение.

Тем не менее, я стал завсегдатаем в творческой мастерской Цеха. Когда меня забрили в армию, Гумилев лично помог мне оказаться в списках на «волчьи» билеты. Он тогда многим помог проскочить. Говорил: "Воевать должны солдаты. Литераторов нужно спасать" – хоть и сам потом ушел на войну. Если у меня есть ВЕХА "Анечка", иду на 171, иначе иду на 104.

§139.

В который уже раз я пребывал погруженным в обшарпанный полумрак "Бродячей собаки". Теперь я был здесь уже не незваным гостем – я гордо восседал между Хлебниковым и Каменским, потягивая папиросу и рассуждая о судьбах русской поэзии.

- Мы - люди будущего! Мы - те, кто будет делать революцию в искусстве! - рассуждал Бурлюк, нависая на столом и по своей неизменной привычке размахивая перед лицами собравшихся восклицательным знаком своего указательного пальца, как бы задавая громкую значимость каждому исторгнутому слову.

- Те, кто будет - значит будетляне! - подхватил Хлебников в своей трогательной манере.

- Гениально! Витя, ты гений! - восторгались ему.

- Мы - мощные люди будущего! - продолжал Додя, от избытка значимости ставя ногу на свободный стул у столика. - Мы меняем человечью сущность России!

- Мы боремся с мертвечиной и косностью старого искусства! - вторил ему Каменский. Крученых старательно фиксировал все брошенные фразы на бумаге.

- Друзья! - осенило Додю. - Так ведь это же получается наш манифест будущего! - он ударил пальцами в исписанные листы, будто в клавиши рояля. - Работы наши продиктованы временем!

Было ли мне что добавить к их мыслям? Разделял ли я их идеи? Или в ту пору безмятежности и юношеского задора у меня были совсем иные интересы?

- Душа - кабак, а небо - рвань, поэзия - истрепанная девка! А красота - кощунственная дрянь, - говорил я, подводя итог их размышлениям на квартире у Бурлюка - 203.

Или же я молча посмеивался над их пылкостью и азартом, предпочитая чаще проводить время в женском кругу - 218?

§140.

Строка: "Мы рифмой
стянем
Будущего
сноп!" - 1

Я жил в своей запущенной комнате, вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как я сам, нищими поклонниками, прозелитами. Я питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья, и охотно

кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи. Иду на 300.

§141.

Строка: «А там вдали – студеные морозы» – 5

И вот тускнел серый рассвет, брызгал мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд нес меня к Парижу. Каруселью отбегали сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные вертелись серостволные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетали мимо, их застилали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущалась близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрила плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмила выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делала свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж приближался. Француз в веселеньком галстуке с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами что-то напевал, укладывая чемодан. Даже лукавый седо-розовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждал нас всех. А ведь всего несколько часов назад я не видел ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Я совсем забыл даже, что где-то существует еще вот такая беспечная жизнь с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. Последние годы я видел лишь беспросветную суровость зим, и даже с наступлением слякоти эта стужа никогда не оттаивала в глазах окружающих меня людей.

От местного отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата, и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми – от всех французов, от всей Франции веяло наслаждением жизнью. Но эта легкость была чужеродной и какой-то неестественной. Казалось, дунь посильнее и поднятая дыханием праздничная пудра откроет свинцовую серую суть окружающей реальности.

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегал по мостам, насыпям, откосам и наконец, шипя, вплыл под стеклянный дымный колпак парижского вокзала. Иду на 238.

§142.

Судьба почти всегда была к нам благосклонна. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии мой друг написал свой знаменитый роман.

Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер - непременно чеддер! - который особенно любил мой друг и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна. Иду на 190.

§143.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось число от 22 до 44 включительно, иду на 298. Если получилось число меньше или больше, иду на 132.

§144.

Возле могилы собрался весь цвет петербургского общества. Я видел множество именитых поэтов, литераторов и политических особ. Народу - тьма тьмущая, не протолкнуться. Только хорошенько поработав локтями, я умудрился приблизиться к гробу. Покойник - пухлощекий джентльмен, даже смерть не смахнула с его лица степенного чопорного выражения - нижняя губа немного вперед кувшинчиком выступала из-под роскошных усов. Заострившийся носик и обтянувшая скулы кожа, желтая, будто старый пергамент, делали это выражение только более трагическим и внимательным, но ни в коей мере не убавляли его статности.

На большом, черненого дерева кресте, отставленном неподалеку, я разглядел высеченные золотые буквы: “Иннокентий Федорович Анненский”.



Дыхание мое оборвалось на полувздохе. Какого человека не стало! Анненский был широко известен в литературных кругах всей России. Знаменитый политический деятель, педагог, именитый литератор. О его поэтических опытах стало известно весьма поздно - только недавно он стал публиковаться и читать свои стихи. Но то немногое, что он успел открыть свету из кладези наработанной годами поэтической сокровищницы, было просто изумительно. Этот человек очень чутко чувствовал свое время и те пути, которыми двигалась литературная мысль. Сказать смелее - он опережал свое время и оказал влияние на многих известных стихотворцев. А какие драгоценной огранки слова его работы хранил я в своей памяти?

В квартире прибрано. Белеют зеркала.
Как конь попоною, одет рояль забытый:
На консультации вчера здесь Смерть была
И дверь после себя оставила открытой. - 79

Динь-динь-динь,
Дини-дини...
Дидо Ладо, Дидо Ладо,
Лиду диду ладили,
Дида Лиде ладили,
Ладили, не сладили,
Диду надосадили. - 111

Я - слабый сын больного поколенья,
И не пойду искать альпийских роз,
Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз
Мне не дадут отрадного волненья. - 31

§145.

Теперь иду на 138.

§146.

Строка: «Мы рифмой
стянем
Будущего
сноп!» - 1

Лалочка состояла с мужем в очень непростых отношениях. Он был значительно старше ее и когда то защитил бедную брошенную девочку, дал ей свою опеку через замужество. Она была бесконечно благодарна ему за это и обожала как никого другого, но отношения их были в большей степени платоническими, дружескими, деловыми и в другом подобном ключе. Оба часто имели романы на стороне, не скрывали этого, делились всем и даже благословляли друг друга на личное счастье.

Мои отношения с этим сложным семейством со временем стали очень тесными. Я часто гостил в доме Лалы, подолгу оставался жить и вскоре совсем переехал к ним в коммуналку. Это был непростой союз. Лала любила часто заниматься любовью с мужем. В эти моменты они запирали меня на кухне. Я рвался, хотел к ним, царапался в дверь и плакал. Отношение Лалы ко мне под час сознавалось мной невероятно беспощадным. Она говорила: «Ему страдать полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». Но чувства всех нас троих к друг другу были самыми чистыми и искренними. С мужем Лалы мы были идейными соратниками, братьями по духу, много общались и работали вместе, а саму Лалу я любил такой – насмешливо жестокой, с хлыстом в руке… Иду на 300.

§147.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось число от 22 до 44 включительно, иду на 206. Если получилось число меньше или больше, иду на 132.

§148.

Однажды мне доставили письмо с приложенной розой. По-солдатски аккуратненькое, написанное рукой Гумилева, оно было озаглавлено: "Первое собрание Цеха поэтов".

Встреча была назначена на новой квартире Городецкого на Фонтанке. В передней ее был нарисован огромный хвостатый чертяка, указывавший пальцем на надпись: "Не кури!".

Собрались в большой полутемной комнате при свечах, председательствовали Гумилев и Городецкий. Жена Гумилева, Анна Ахматова, была назначена секретарем заседания. Она сидела в углу на стуле, поджав под себя одну ногу, и писала, немыслимо романтичная в неверном мерцании свечи, окаймленная ворохом бумаг и стопками книг.

Пришли месье профессора Бойе и Рфю — с вырезными жилетами, любезные, но никто не сумел с ними обратиться по-европейски - «западники», трепещущие перед всем иностранным, имели в этом успеха не больше, чем «славянофилы». Читали стихи, много шутили, обращались друг к другу преувеличенно важно и с тут же выдуманными титулами но, тем не менее, пришли к нескольким важным вещам, укоренившимся в дальнейшем. Городецкий рассказывал, как смешно и трагично открывали памятник Никитину в Воронеже (он только что был оттуда; приехал заплаканный, всю ночь плакал в вагоне). Потом — Кузьмин-Караваев говорил речи французам (уже ушедшим) и ответные за французов. Разбирали положение дел в нынешней поэзии. Гумилев рассуждал:

- Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами... Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого...

Городецкий резюмировал:

- Целые тысячелетия поэты называли себя пророками, жрецами. Это прискучило, - трудно долго ходить на ходулях. Кроме того, стихов пишется теперь так много, звание поэта так обесценено, что жреческие позы кажутся опереточными и только еще больше компрометируют бедных певцов.

Решено было организовать новый образчик поэтического общества. Сформировать руководство - не то, чтобы "правление", ведающее хозяйственными и организационными вопросами; но и не то, что было в Башне и подобных местах - "учителя-академики" и безгласная масса вокруг. Для этого были приняты должности "синдиков", в задачу которых входило направление членов Цеха в области их творчества; к членам же предполагалось предъявлять требования известной "активности"; так, к поэзии был с самого начала взят подход, как к ремеслу.

Шумно спорили о том, как все лучше устроить. Наконец, было условлено - в синдики назначить троих. Каждому из них была вменена почетная обязанность по очереди председательствовать на собраниях; но это председательствование они понимали как право и обязанность вести собрание. И при том чрезвычайно торжественно. Где везде было принято скороговоркою произносить: "Так никто не желает больше высказаться? В таком случае собрание объявляется закрытым..." - там у них председатель торжественнейшим голосом громогласно объявлял: "Объявляю собрание закрытым".

А высказываться многим не позволял. Было, например, принято правило, воспрещающее "говорить без придаточных". То есть, высказывать свое суждение по поводу прочитанных стихов без мотивировки этого суждения. Все члены Цеха должны были "работать" над своими стихами согласно указаниям собрания, то есть, фактически - двух синдиков. Третий же был отнюдь не поэт: юрист, историк и только муж поэтессы, этакий арбитр меж двумя гениями.

За исключением этих забавных особенностей, в общем, Цех стал благодарной для работы средой. Все любили друг друга как братья и держались круговой поруки. Блок, присутствовавший там, отзывался о собрании с теплотой:

- Безалаберный и милый вечер. Было весело и просто. С молодыми добреешь.

Для того, что бы из рядового присутствующего на собрании стать соучастником, необходимо было пройти ритуал принятия в Цех. Сделаться подмастерьем было просто - нужно было только прочитать собранию собственные стихи. Для принятия в более почетные должности - стряпчих, казначеев и мастеров - требовалось пройти испытание, предложенное синдиками. К такому испытанию допускались лишь признанные мастера слова.

Если у меня есть КЛЮЧ “Мастер слова”, я могу использовать его, что бы попробовать себя в таком испытании и войти в число знаковых цеховиков. Используя этот КЛЮЧ здесь, я не вычеркиваю его из списка.

Если мне будет довольно звания подмастерья, я иду на 105.

Если же мне не интересен Цех Поэтов и я не хочу в нем участвовать, иду на 209.

§149.

Строка: “Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...“ – 3

Совершенно верно. От меня требовалось сложить именно акростих. Я находил совершенно неприличным задание: Цех не каннибал; есть Академию свойственно ему быть не должно. Насчет яств - другое дело. В обычаях Цеха было хорошее угощение после делового собрания. Синдики благосклонно отнеслись к моей вольности и я был принят в Цех на почетных правах стряпчего. В последствии, благодаря этому, некоторые из моих стихов вошли в поэтические сборники, публиковавшиеся Цехом - журналы «Гиперборей» и «Аполлон». Если у меня нет ВЕХ “Слава” и “Собственное издание”, пишу их себе.

После революции не осталось никого - из тех моих бывших соратников. Как не стало и самой страны...

А тогда я оказался завсегдатаем в творческой мастерской Цеха. Когда меня забрили в армию, Гумилев лично помог мне попасть в списки на «волчьи» билеты. Он тогда многим помог проскочить. Говорил: “Воевать должны солдаты. Литераторов нужно спасать” - хоть и сам потом ушел на войну. Если у меня есть ВЕХА “Анечка”, иду на 171, иначе иду на 104.

§150.

Вскоре подошел конец моего обучения в гимназии. Настало время самостоятельно становиться на крыло и искать себе профессию. До этих пор денег, посылаемых мне отцом и перепадающих от литературных заработков, хватало на то, что бы прожить скромным студенческим бытом. Но теперь, когда двери гимназического общежития закрывались для меня, следовало подумать о поиске более серьезных средств к существованию. И я решил:

Устроиться писарем в какое-нибудь государственное учреждение. Работа скучная и серая, зато предполагает продвижение по службе и гарантированное жалование в случае примерного исполнения своих обязательств - 77

Пойти работать в издательство. Мой навык художественного ремесла вкупе с литературным талантом позволят мне без хлопот устроиться в какую-нибудь печатную артель. Хлеб не абы какой, зато дело это интересное и близкое душе, да и будучи накоротке с издателем всяко легче станет издать собственные сочинения - 65

Жила поэтического творчества горела во мне и грех было отвлекаться от ее добычи на досужий промысел. Я решил присоединиться к вольной поэтической братии, найти себе издателя, печататься, отправиться в творческое турне по стране и, в конце концов, стать известным - 21

Вдохновленный революционными призывами социалистов, я презрел дармоедский хлеб интеллигента и пошел работать на завод. Страна находилась в кризисе, нужны были рабочие руки - а я стал бы валяться на диване да пописывать? Ну уж нет! Будущее - за рабочим классом! - 84

Я решил продолжать труд свободного литератора. Там статью в газетенку, тут рецензию накатать, здесь стишки на заказ. Дело это проверенное. Не золотые россыпи, конечно, но и не каторга. Время на свое творчество останется - не исписаться бы только, вдохновение бы на трудовом поприще не прожечь - 91

§151.

Расхаживая по комнате, я стал вдохновенно излагать Маку печальные душевные обстоятельства, в которых оказался мой друг. Я пересказал хозяину квартиры глубинные трепетные переживания нашего брошенного возлюбленного, я обрисовал те бездны уныния, в которые погрузился наш печальный кавалер де Гри. Взглянув в глаза Мака, я увидел сквозящую в них тень сомнения, но было ясно, что моих дифирамбов не достаточно, что бы заставить его испытать раскаяние. По всей видимости, на другой чаше весов находилась беззаботная трогательность дружочка, и она перевешивала любые увещевания. Здесь требовалась артиллерия посильнее задушевной беседы.

Если у меня есть КЛЮЧ "Мастер слова", значит, есть смысл предъявить Маку следующий виток аргументов - прибавляю к номеру этого КЛЮЧа 200 и иду на соответствующую главу. Если такого КЛЮЧа у меня нет, я могу попробовать действовать грубостью - 195 или же ретироваться для дальнейшего обдумывания стратегии по вызволению дружочка - 182.

§152.

Ну и где меня на сей раз угораздило вляпаться в потасовку?

В кабаке послал голь кабацкую — 76
Мне повстречался возлюбленный моей апашки - 126
Проводил разъяснительную беседу с Маком - 156
Решил ввязаться в бой вместе со своим командиром - 289

§153.

Строка: “Кудах-
тах-
тах!
За что все это мне?” - 4

Начитавшись распространяемых по вагонам большевистских прокламаций, мы держались пораженческого настроя - к начальству относились снисходительно, перемигивались за спинами молодых офицериков и таскали у них потихоньку предметы роскоши.

На фронте воевали неохотно. После перемены власти в столице и установления гегемонии Временного правительства, в соответствии с революционными веяниями позиция “низов” перетекла в “верхи”. Керенским был взят курс на братание двух арийских народов.



Однако государство не может обойтись без секретных агентов и провокаторов. Государство не может обойтись без контршпионажа, между прочим заключающегося в «добывании языка». Братанье кончилось тем, что батальонный командир потребовал от нас «добыть языка».

С немцами давно жили дружно, всем делились. Посовещались и не добыли. На следующий день командир повторил приказание с угрозой выслать весь батальон в дозор. Батальонные и ротные комитеты на фронте были бессильны. Ослушаться нельзя. Двух немцев, пришедших по обыкновению брататься (там тоже не слушались начальства, и немцы тоже отказывались наступать), забрали и отправили в штаб дивизии (что с ними там делали - неизвестно, но обыкновенно «языки» подвергаются пытке). Немцы вывесили у проволочных заграждений плакат: верните наших двух товарищей, иначе вам будет плохо. Стали совещаться, что поступили подло, но вернуть уже не могли.

Немцы вывесили второй плакат: пришлите нам одного из ваших, мы его отпустим. Смельчак нашелся, пошел к немцам. И вернулся обратно, цел. Немцы вывесили третий плакат: верните нам наших, как мы вернули вам вашего, иначе вам будет плохо. Когда это не подействовало, открыли огонь по нашим окопам.

Два дня свирепствовала немецкая артиллерия (к нашим окопам уж наверняка пристрелялись, что наши окопы?) и выбили из каждой роты по 60 человек.

Теперь Керенского уже бранили, а не восхваляли - зачем начал наступление, когда одни согласны, а другие — нет. Без наступления и с братаньем война бы кончилась. Что братающиеся немцы отравляли наших газами, как я потом читал - так это газетное вранье. В октябре керенщина была свергнута и война закончилась. На память о ней у меня остался только потрепанный солдатский мундир да знание некоторых немецких слов. Пишу себе КЛЮЧ "Мундир(215)" и иду на 104.

§154.

И я бежал, бежал прочь от сжигавшего меня чувства. Пьер поглядывал на меня с молчаливой признательностью. Вероятно, он опасался моего пылкого нрава, и я изо всех сил старался продемонстрировать другу свою непричастность к его законной супруге.

Однажды, в одном из скверов Монпарнаса, на тенистой веранде кафе за соседним столиком я встретил ангела. Ангел был в скромном белом платьице вполне себе русской моды, непривычной в здешнем окружении и давно минувшей с местного парнаса, белокурые льняные волосы струились волной на точеные плечики. Лицо милого ангела показалось мне смутно знакомым.



Если у меня есть ВЕХА "Лизонька", иду на 172. Если нет, но я хотел бы познакомиться с этим чудесным созданием - иду на 109. Если я предпочитаю полное уединение, иду на 137.

§155.

Строка – "Кудахтать брось про белые березы" – 1

Мы с Пьером были людьми передовых взглядов. Набиравшая популярность теория "стакана воды", пропагандируемая революционерами Кларой Цеткин и Розой Люксембург, и предлагавшая

приравнять половые отношения любому другому физиологическому акту, например, утолению жажды, не осталась чуждой и для нас.

В тот же вечер, когда я увидел Лили, я честно признался другу, что влюбился в его жену и посвятил стихи страстной натуре этой прекрасной женщины. Они оба - и Пьер, и Лили были в восторге от моего прямодушия. Мы решили жить единой, дружной коммуной, объединенной идеалами общности и взаимопомощи. Прежние скудные идеалы собственничества и себялюбия были решительно отвегнуты нами. В общую кассу поступали не одни заработки и денежные средства, а наши радости и горести, мысли и желания, знания и незнания. Мы корпели над схемами II и III тома "Капитала" Маркса, вместе анализировали книгу Э. Бернштейна, копались в старых марксистских журналах "Новое Слово", "Начало" и "Жизнь", спорили о философии, рьяно отвергали вышедший сборник "Проблемы идеализма" и единогласно признавали замечательной книгу Ленина "Что делать".

Снимать корсет — порвать подтяжки...
Пружиной резать старо — тик
Китами тикают по ляжкам —
Невыразимый клопоти́к.

Все мы трое одинаково сильно любили друг друга. И когда уличные фонари раскрашивали пространство нашей спальни маркими мазками своих лучей, мы были близки все трое в порыве нашего социал-демократического единства.

Клопотиканье на тике,
Египтовекагзлазотик
И путешественники по Эротике —
Ничтожнейшие математи́к!

Благодаря Пьеру я усиленно печатался и даже выпустил пару книжек, напечатанных на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками и непривычным шрифтом. Если у меня нет ВЕХИ "Собственное издание", пишу ее себе.

Однако счастье наше не было долгим. Близость войны делала жизнь во Франции все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия и мы решили уехать в Россию - я выдвинулся первым, чтобы облегчить своим отъездом их и без того скудный быт моих любимых Пьера и Лили. Они должны были приехать следом, как

только Пьер уладит все свои дела во Франции. На вокзале в Париже мы тепло расстались. Пишу ВЕХУ "Лили".

Если у меня есть ВЕХА "Слава", значит, я возвращаюсь в Россию как герой, окруженный лавровым венком почета - иду на 73, иначе иду на 108.

§156.

Строка: "Пробивши
грудь
проклятой белизне!" - 1

Не дожидаясь, пока Мак дотянется до револьвера, я шарахнул ворох бумаг со столешницы прямо ему в лицо и, выиграв время, обогнул громадную тумбу бюро.

Когда пальцы Мака уже проникли за железную дверцу сейфа, я хорошенько лягнул по ней и Мак с жалобным воплем отдернул прищемленную руку.

- Позовите дружочка, - ледяным голосом повторил я.

- Дружочек! - блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.

- Я здесь,- сказала дружочек, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты. - Здравствуй.

- Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Твой возлюбленный ждет тебя внизу.

- Позвольте…, - пробормотал Мак.

- Не позволю,- сказал я.

- Ты меня извини, дорогой, - сказала дружочек, обращаясь к Маку. - Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю своего слоника и должна к нему

вернуться.

- Идем, - скомандовал я.

- Подожди, я сейчас возьму вещи.

- Какие вещи? - удивился я.- Ты ушла от моего друга в одном платьице.

- А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,- прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками. - Прощай, Мак, не сердись на меня, - милым голосом сказала она Маку. У Мака на испуганном лице показались слезы.

- И смотрите у меня,- сказал я на прощанье, погрозив Маку пальцем,- чтобы этого больше не повторялось!

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Гри.
Таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке. Иду на 219.

§157.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 236. Иначе иду на 132.

§158.

Я протянул к незнакомке свои широкие объятия, но она отстранилась и уткнула мне в грудь острие своего зонтика.

- Какой вы пламенный, - строго сказала барышня. - Наверное, вы не знаете от женщин отказов? Сожалею, но буду вынуждена вас огорчить, - с этими словами она резким шагом удалилась прочь по улице, смешиваясь с толпой, оставляя меня в одиночестве с моими растрепанными чувствами и круглым мокрым пятном от кончика зонта на груди слева. Иду на 150.

§159.

Строка: «Как хороши, как свежи будут розы» - 3

Вскоре меня арестовали в первый раз после поездки в Кисловодск. Я содержался свыше месяца в ВУЧК по какому-то нелепому подозрению в сношениях со штабом генерала Деникина.

- Вам генерал Деникин известен лично, вы знакомы с ним или нет? - спрашивал меня на допросах следователь, ответственный работник ГПУ.

- С именем генерала Деникина я, как всякий интеллигент, знаком по газетам, лично же я не имею чести быть знакомым с ним, - покорно, раз за разом отвечал я.

- Да, но ведь ваш род занятости и положение этого не исключают, хотя фактические данные как будто и не дают достаточных подтверждений, - наседал следователь-чекист и прочитывал мне целый перечень лиц, занимающих видные посты в штабе главнокомандующего. - А эти лица вам знакомы?

- В первый раз слышу о них.

- Собственно, у меня нет определенных данных, говорящих за то, что вы были знакомы и поддерживали связь с этими лицами, но у меня также нет основательных доказательств, что вы их совершенно не знаете. А при таком положении, согласитесь, не исключена же возможность, вы ведь могли...

- В чем же, собственно, я обвиняюсь? Как вы формулируете обвинение против меня? – спрашивал я.

- В том, что, будучи знакомым и находясь в связи с генералом Деникиным и его ближайшими сотрудниками, вы доставляли им сведения о военном положении; или, ежели это положение фактически не подтвердится, то в том, что вы могли это сделать. Ведь вы - поэт, а поэты, известно, по своим убеждениям не левее кадета, значит, вы, несомненно, деникинец, а потому более чем вероятно, что вы находились в связи с генералом Деникиным и передавали ему нужные сведения...

Только на основании столь рискованных логических построений я едва не был приговорен к расстрелу. И лишь своевременная помощь моего друга, единственного и самого преданного, сумела вызволить меня из этой передряги. Мой друг был революционером старой закалки и числился на хорошем счету в ГПУ. Если у меня есть ВЕХА «Кокаин», иду на 228, иначе иду на 168.

§160.

Строка: "Рубленых

рифм

раскатить бы грозы" - 1

Я перевел дыхание и увидел скривленное лицо Доди, вынырнувшее рядом из мрака. По этой кривизне я понял, что нещадно смазал впечатление, которое до того так блестяще произвел на Бурлюка ранее. Разочарованные суждения зрителей из темноты служили мне еще одним подтверждением моего фиаско. Тогда я решил не гасить представление на минорной ноте – я сделал шаг вперед, цапнул со стола скатерть и что есть мочи дернул ее из-под посуды. Однако трюк мой не прошел - вечер тот не был осиян звездой моей удачи и посуда не осталась как по волшебству стоять на своих местах, подвластная хитрым физическим законам. Несколько чашек, не стерпев рывка, полетели в стороны и звонко коцнулись на паркете. А меня уже было не остановить - торро! торро! - ревел я своей гидре и махал перед ней парчовой тряпкой скатерти. Я хлестал в их лица алой материей беды, зазывая продолжать свою атаку. Кто-то - кажется, Каменский - вскочил и бешено зааплодировал мне.

- Ну что же вы, господа поэты, - сказал я. - Что же остановили свой наскок?

Ответом мне служит глухой удар в затылок одного из официантов, решивших на корню пресечь мою разгромную буффонаду. Пишу КЛЮЧ "Эпатаж(10)" и оканчиваю этот вечер, минуя подробности полицейского околотка и переходя сразу на 3.

§161.

Строка: "Кудах-

тах-

тах!

За что все это мне?" - 2

Дальше у меня в стихе рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой я подарил карманный фонарик, но она стала мне изменять с бухгалтером, и я, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно.

Когда я закончил, Гумилев, в качестве "синдика" произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако, пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость - такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустишие Бальмонта: "Но мерзок сердцу облик идиота. И глупости я не могу принять", Гумилев назвал его жестоким и в моем лице приветствовал вступление очевидной глупости в "Цех Поэтов".

После собрания я подслушал разговор Гумилева с одним цеховиком в соседней комнате. Тот спросил Николая Степановича, стоит ли так издеваться надо мной, и зачем нужен я в "Цехе". К своей чести Гумилев заявил, что издевательства никакого нет.

- Не мое дело, - сказал Гумилев, - разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы выставляться дураком, но я не в праве требовать ума в суждениях ни от кого. Свою глупость он, - говорил Гумилев, имея в виду меня, - выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, он - поэт, и мой долг - принять его в "Цех".

С тех пор я стал завсегдатаем в творческой мастерской Цеха. Когда меня забрили в армию, Гумилев лично помог мне оказаться в списках на «волчьи» билеты. Он тогда многим помог проскочить. Говорил: "Воевать должны солдаты. Литераторов нужно спасать" - хоть и сам потом ушел на войну. Если у меня есть ВЕХА "Анечка", иду на 171, иначе иду на 104.

§162.

Строка: "Но не прельщают сладкие прогнозы" – 5

Она ежилась на койке в своей куцой комнатке с голыми стенами, закутанная во всю теплую одежду, что только нашлась дома. Объемистая печка-буржуйка, оставшаяся от прежних хозяев, раскинулась огромным железным пауком едва ли не во все помещение и высунула свой длинный хобот в окно. Но это доисторическое чудовище, поселившееся здесь с незапамятных времен, было мертво и холодно — недро его пустовало без сытной древесной пищи, и печь не могла послужить своей естественной цели дарить тепло своим сожителям.

Я обнимал ее хрупкие плечи и целовал ледяные щеки мертвенно прекрасного лица.

- Не смотри на меня — я страшная. Я вся опухла, у меня глаза как щелки, - говорила она, пытаясь уклониться от моих объятий.

- Ну что ты выдумываешь, ты обворожительна. Это от голода, - успокаивал ее я.

- Мне холодно очень, - жаловалась она, кутаясь в жалкое тряпье, неспособное удержать естественное тепло ее тела и сохранить его.

- Я что-нибудь придумаю, - твердо обещал я и вышел на улицу.

Здесь царил холод посерьезней, чем внутри зданий.

Озябший рынок кипел, как огромная кастрюля. Торговали всем на свете: портянками, елочными игрушками, маковыми плитками, кокаином. Бранились, дрались, закусывали на ходу.

Официально рынок был закрыт, но каждый день на прежнем месте собиралась великая толпа. Частную торговлю то разрешали, то отменяли, и милиционеры не знали, положено им гонять «преступных хищников спекуляции» или нет. Они осуществляли диктатуру пролетариата по собственному разумению: забирали все, что приглянется самим, женам, начальству и друзьям. С бывалыми мешочниками они находились во взаимовыгодной дружбе; торговцы попроще вскладчину покупали им водку или платили мальчишкам, чтобы они осаждали стражей порядка:

— Дядь, а дядь, дай из ружья стрельнуть!

Милиционеры рычали, замахивались прикладами, но бегать за ребятней ленились.

Старик генерал в треснутых очках продавал трубу от граммофона. Стоял, пряча стыдливые глаза, жевал обкусанный конец седого уса. Старуха в гимназической фуражке поверх платка сбывала две немытые сковороды. Мальчишки совали прохожим трясущегося щенка, шведские спички и папиросы «Ява», толкотня, крик:

— Я претензию могу заявить!

На заборе огромный плакат: «Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна быть государственной монополией».

Я стоял, сиротливо оглядываясь и растянув на ветру свое последнее теплое пальто, сам закутавшись в легкий демисезонный плащ, совершенно не спасавший от жгучего

ветра. Какой-то бородач после долгих убалтываний и судорожного торга сунул мне за него две плашки дров. Тут же, за углом, некий рыжий тип попытался вырвать их у меня, но я двинул ему под нос кулак, оправленный кастетом, и рыжий отстал, побледнев и шустро смешавшись с народом.

Одно полено я обменял на несколько дряблых прошлогодних морковин и принес доставшиеся мне сокровища в дом своей возлюбленной. «Я много дарил конфет да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и полполена березовых дров...»

Подсовывая тонкие выверенные щепочки в глотку паучихи-буржуйки, мы кипятили чай и варили пустую похлебку из перетертой моркови, казавшуюся такой ароматной и восхитительной нашим голодным желудкам.

- Не домой, не на суп, а к любимой в гости, две морковинки несу за зеленый хвостик, - насмешливо говорил ее муж, прихлебывая сокровенную жижу из жестяной кружки.

Не взирая на все невзгоды тех свирепых лет, впервые мы чувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей. Мы были не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы были детьми мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников. Мы - разночинцы. Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было. Революция открыла для нас неограниченные возможности. Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и "все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся". Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья. Иду на 190.

§163.

И вот, настало время подвести итог моим воспоминаниям. Что у меня записано в графе «стиль»?

Если символист, иду на 157.
Если акмеист, иду на 143.
Если футурист, иду на 232.

§164.

Если у меня есть уже одно попадание в Латунского, иду на 88.
Иначе иду на 167.

§165.

Разбои, грабежи и убийства стали обычным, узаконенным тогдашними властителями явлением. Суда и расправы над преступниками никем не производилось.

Воры, грабители и убийцы, предатели, изменники и провокаторы, шпионы и дезертиры, насильники и растлители теперь не скрывались, не стыдились своих злодеяний, но громко, во всеуслышание хвастались своими «подвигами».

Их руки были развязаны, их действиям дан был полный простор и полная воля. «Свободы» осуществлялись вовсю.

Законопослушный, мирный, трудящийся обыватель, тот, который наживал богатства, создавал великое государство и на своих плечах нес все многообразныя тяготы его, своим же правительством был отдан на полный, жестокий произвол бездельникам - народным низам и отбросам. Все в России переместилось, все перевернулось вверх дном. Мозги помрачились, разум отсутствовал, понимание испарилось, совесть угасла, сердце пламенело человекоубийством. Карались люди не за преступления, не за бездельничание, не за измену родине, не за убийства, грабежи и всевозможныя насилия, а, наоборот, изменники, предатели и уголовные преступники карали порядочных людей за добродетель, за доблесть, за верность Родине, за честную, безупречную жизнь.
Все происходило, как в доме умалишенных, когда преступные и психические больные берут силу, опрокидываются на своих врачей, служащих и сторожей и беспощадно избивают их, не понимая, что без их помощи и опеки и сами обречены на гибель.

Когда беспорядки в Петербурге достигли кульминации своего кровавого разгула, я решил бежать на Юг с группой знакомых мне офицеров, дабы примкнуть к рядам Добровольческой армии Деникина.

Я понимал, что обрекаю себя на тяжкую солдатскую судьбу, но без ропота выносить происходящее в России не было никакой возможности. Сейчас мне смешно смотреть кинокартины, в которых изображается Белая армия — веселящаяся, дамы в бальных платьях, офицеры в мундирах с эполетами, с аксельбантами, блестящие! На самом деле Добровольческая армия в это время представляла собой довольно печальное, но героическое явление. Одеты мы были кто как попало. Например, я был в шароварах, в сапогах, на мне вместо шинели была куртка инженера путей сообщения, которую мне подарил ввиду поздней уже осени хозяин дома, где мы однажды останавливались. Вот в таком виде мы щеголяли. В скором времени у меня отвалилась подошва от сапога на правой ноге, и пришлось привязать её веревкой. Вот какие «балы» и какие «эполеты» мы в то время имели! Вместо балов шли постоянные бои. Все время на

нас наседала Красная армия, очень многочисленная. Думаю, что нас было один против ста! И мы кое-как отстреливались, отбивались и даже временами переходили в наступление и оттесняли противника.



Если у меня есть КЛЮЧ «Мундир» то, не вычеркивая его, иду на 191, иначе иду на 212.

§166.

Если у меня есть ВЕХА «Жена», иду на 294, иначе иду на 48.

§167.

Зал ликовал.

- Вот это остряк! Проехался, так проехался! Мокрого места не оставил! Так его!

А вот Латунский пробормотал что-то совсем невнятное. Его витиеватый пассаж о культуре стихосложения заставил публику зевнуть и Коняшевич объявил третий круг. Нужно было срочно собраться и придумать что-нибудь дельное. Раздухарившись и глотнув, как следует, из горла, я неистово грянул:

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
Не суй свой нос в культуру духа
И в культуру вообще – 173

Или

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы – 233

Или

Легко смотреть вам, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо-ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры. – 240

§168.

И вот, настало время подвести итог моим воспоминаниям. Что у меня записано в графе «стиль»?

Если символист, иду на 157.
Если акмеист, иду на 147.
Если футурист, иду на 134.

§169.

Мне помнился дивный и волшебный миг озарения, страшная сказка, вызвавшая к жизни из моего воображения десятки великолепных и острых строк. Этим озарением было мистическое путешествие, подаренное мне расом Тафари. Странствие, в которое отправил меня дедьязмач, оставило глубокие следы в моей душе, сделало меня совершенно другим человеком. Но впечатления после этого невообразимого вояжа были слишком путаны и противоречивы, и я не сумел оформить их в однозначную картину. «Ах, если бы еще разок оказаться мне в чудесных землях Умфолози – теперь то я знал бы куда смотреть и как себя вести» - временами мечтал я.

И такой шанс выпал мне. Один мой приятель по гимназии, его фамилия была Зандер, с которым мы вместе спускали время в

кабаках, однажды обмолвился, что они с дружком нынче ночью решили устроить «понюхон». Я не понял, переспросил и он пояснил, что это значит нюхать кокаин. Я стал расспрашивать его подробнее, поскольку был не осведомлен в этом вопросе – мне казалось, что кокаин по воздействию это что-то вроде алкоголя – но описания, данные мне Зандером, невообразимо напомнили мое путешествие в Умфолози, и я тут же изъявил желание присоединиться к своему приятелю в этой затее. Вечером прихожу к Зандеру на улицу Песочную, дом 245.

§170.

Строка: "Воспоминаний о минувшем дне!" – 3

Мой друг слег в постель с горячкой. Беспамятный, шепчущий что-то в бреду, он тихо лежал в своей кровати. Не находя в себе сил выносить этого, я отправился за дружочком.

Найдя дом Мака, я стукнул пальцами в стекло его комнаты и заковылял во двор своей ныряющей походкой, как бы выбрасывая бедро вперед. Потом дружочек в восхищенном ужасе признавалась - ей показалось, что стук был такой, как будто постучали костяшками мертвой руки.

Во дворе лежало два бетонных звена канализационных труб, приготовленных для ремонта, видимо, еще с дореволюционных лет. Одно звено стояло. Другое лежало. Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских двориков с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники. На них я и присел.

Вокруг стояло несколько тополей. Почерневший от времени, порванный веревочный гамак висел перед желтым флигелем. Он свидетельствовал о мучительно длинной череде многолетних затяжных дождей. Но теперь сквозь желтоватые листья кленов светило грустное солнце, и весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для моей изломанной фигуры.

Когда Мак, бледный как смерть, вышел ко мне, не дождавшись звонка в дверь, я сидел понуро, выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском желтом полуботинке от Зеленкина. Вообще, я был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того времени.

Культяпкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, я прижимал к груди свое канотье, в другой же руке, бессильно повисшей над травой, я держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Я поднял на него потухший взор и, назвав официально по имени-отчеству, попросил передать дружочку, которую тоже назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что наш общий друг, названный тоже весьма учтиво по имени-отчеству, сейчас лежит при смерти, погибающий от неизбывной тоски по ней, и что если она немедленно не покинет Мака и не отправится со мной к нему, то я здесь же у них во дворе выстрелю себе в висок из нагана.

Пока я все это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушиные крики петрушки. Щемящие звуки уходящего старого мира. Они извлекали из глубины моего сознания стихи: "Жизнь моя, как летопись, загублена, киноварь не вьется по письму. Ну, скажи: не знаешь, почему мне рука вторая не отрублена?"

Я был страшен, как оборотень. Дрожа, Мак вернулся в комнату и я услышал из недр дома взволнованный голос дружочка: "Он это сделает. Я его слишком хорошо знаю." А потом кто-то истерично причитал: "Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем... даже страшно подумать!"

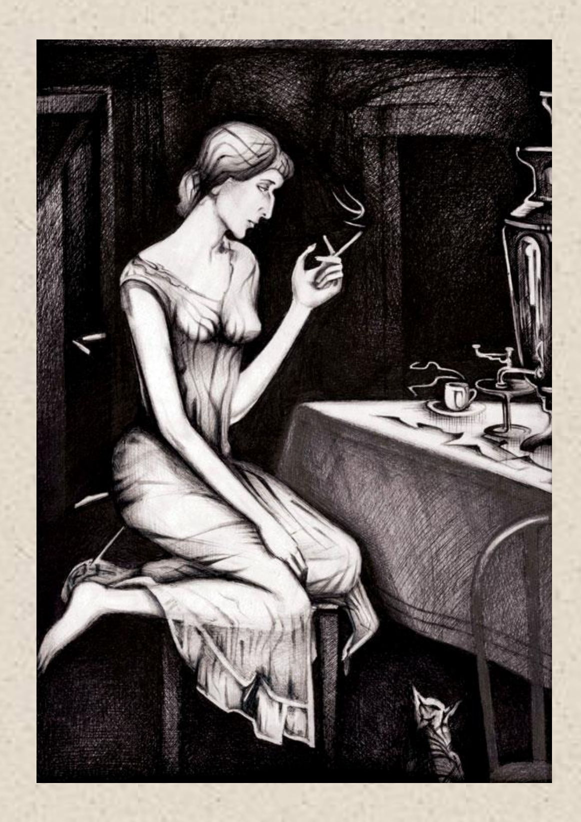
Вскоре дружочек появилась на пороге, прижимая к груди два увесистых свертка. Мы вернулись к нам в общежитие, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки погибающему кавалеру де Гри, на лице которого, впрочем, тут же забрезжила слабая улыбка жизни.

Таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке. Иду на 219.

§171.

На одном из собраний Цеха я как-то зашел на кухню за чаем и увидел там Аню, жену Гумилева. Она сидела спиной ко мне на табурете, поджав ноги, склонившись над блокнотом и что-то неистово записывая. Я не видел ее лица, и только столбик папиросного дыма взвивался над хрупким плечиком.

- Проходите, не стесняйтесь, - тихо сказала она. – Вы мне не помешаете.



Я услышал этот бархатный голос, отрешенный от образа лица… и гром осознания поразил меня. Я узнал в Анечке свою незнакомку, встреченную на той знаменательной прогулке, что случилась со мной однажды. Мысль о том, что это была та самая Аня, которая всюду сопровождала Гумилева; которая писала такие независимые и проникновенные стихи; которая однажды на ковре посреди собравшихся, показывая свою гибкость, перегнувшись назад, стоя, зубами поднимала лежавшую позади спичку; мысль об этом никак не укладывалась в моем мозгу.

Чтобы проверить свою шальную догадку, я тихонько, будто самому себе произнес под нос те строки, что читал ей тогда и услышал тихий смешок:

- Вы, наконец-то, узнали меня, громкоголосый уличный поэт?

Она обернулась, и мы обнялись как старые знакомцы после долгих лет разлуки, хотя и виделись не больше часу назад.

- Почему вы работаете в такой неподходящей обстановке? – спросил я Анечку.

- Мне сложно творить под его давлением, - ответила Аня, подразумевая под «ним» Гумилева и потупила взор. – Он постоянно пытается вогнать меня в какие-то рамки, задать собственные лекала…

- А давайте улизнем на прогулку! - предложил я. - Там, за пределами этой казармы, мы найдем гораздо более подходящую обстановку для вашей работы!

И мы, как маленькие дети, взявшись за руки, бежали с заседания Цеха по пожарной лестнице, дверь на которую как раз выходила через кухню. Гумилев, отстаивая свою "свободу", часто на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих "побед"... Аня страдала глубоко. И мне до скрежета зубов хотелось хоть как-то облегчить это ее страдание. Бежим на 104.

§172.

- Лизонька, здравствуйте! - сказал я, подходя к ее столику. Лизонька подняла на меня чистый взгляд своих хрустальных глаз.

- Здравствуйте, поэт! - улыбнулась она. - Какая неожиданная и приятная встреча!

Если я когда-либо обещал Лизоньке посвятить ей свои стихи, иду на 256, иначе иду на 270.

§173.

Теперь иду на 15.

§174.

За последние месяцы особенно часто случалась тоска. Тогда, подолгу простаивая у окна, держа в рогатке пальцев папиросу, из которой со стороны мандаринового ее огонька шел синий-синий, а со стороны мундштука грязно-серый дымок, я пытался счесть на соседней стене кирпичи, или вечером, потушив лампу и вместе с ней черное двоение комнаты в сразу светлевшем стекле, подходил к окну, и, задрав голову, так долго смотрел на густо падающий снег, пока не начинал лифтом ехать вверх, навстречу неподвижным канатам снега. Иногда, еще бесцельно побродив по коридору, я открывал дверь, выходил на холодную лестницу, и, думая, кому бы мне позвонить, хотя и знал хорошо, что звонить решительно некому, спускался вниз к телефону. Там, у так называемой парадной двери, в суконной синей и назади гармонью стянутой поддевке, в фуражке с золотым околышем, поставив сапоги на перекладину табурета, - сидел рыжий Матвей. Поглаживая ручищами колени, словно он их жестоко зашиб, он время от времени запрокидывал голову, страшно раскрывал рот, обнажая приподнявшийся и трепетавший там язык, и так зевая, испускал тоскующий рык, сперва тонально наверх а-о-и, - и потом обратно и-о-а. А зевнув, сейчас же, еще с глазами, полными сонных слез, укоризненно самому себе качал головой, и потом умывающимися

движениями так крепко тер ладонями лицо, словно помышлял сорванной кожей придать себе бодрости.

Вероятно, этой-то зевотной склонности Матвея должно было приписать то обстоятельство, что жильцы дома, где только и как только возможно, избегали и даже как бы пренебрегали его услугами, и вот уже много лет в доме были приспособлены звонки, шедшие из телефонной будки решительно во все квартиры, чтобы в случае телефонного вызова, Матвею было достаточно только надавить соответствующую кнопку.

Моим условным вызовом вниз к телефону был длинный, тревожный звонок, который, в особенности теперь, за последние месяцы, приобрел для меня характер радостной, волнующей значимости. Однако звонки такие случались все реже. Единственный и самый преданный друг мой был безнадежно влюблен, больше приходить было особо некому.

Я радостно вскочил с дивана, когда раздался бешеный, долгий звонок, звавший меня к телефону, прочь из моей меланхолии. Я решил, что наступил момент одного из редких визитов моего друга. Когда сбежав по холодной лестнице и забежав в телефонную, пропахшую пудрой и потом, будку, я поднял висевшую на зеленом скрюченном шнуре у самог пола трубку, то шепот, который захаркал оттуда, принадлежал не другу, а Зандеру, студенту, с которым я весьма недавно познакомился в канцелярии университета. И этот Зандер хрипло лаял мне в ухо, что он с приятелем нынче ночью решили устроить понюхон (я не понял, переспросил и он пояснил, что это значит нюхать кокаин), что у них мало денег, что было бы хорошо, если бы я смог их выручить, и что они меня ждут в кафе. О кокаине у меня было весьма смутное представление, мне почему-то казалось, что это что-то вроде алкоголя (по крайней мере по степени опасности воздействия на организм), и так как в этот вечер, как впрочем, и во все последние вечера, я совершенно не знал, что мне с собою делать и куда бы пойти, и так как у меня имелось пятнадцать рублей, то я с радостью принял приглашение. Иду по адресу «Кофейня Снегова», Песчаная улица, дом 245.

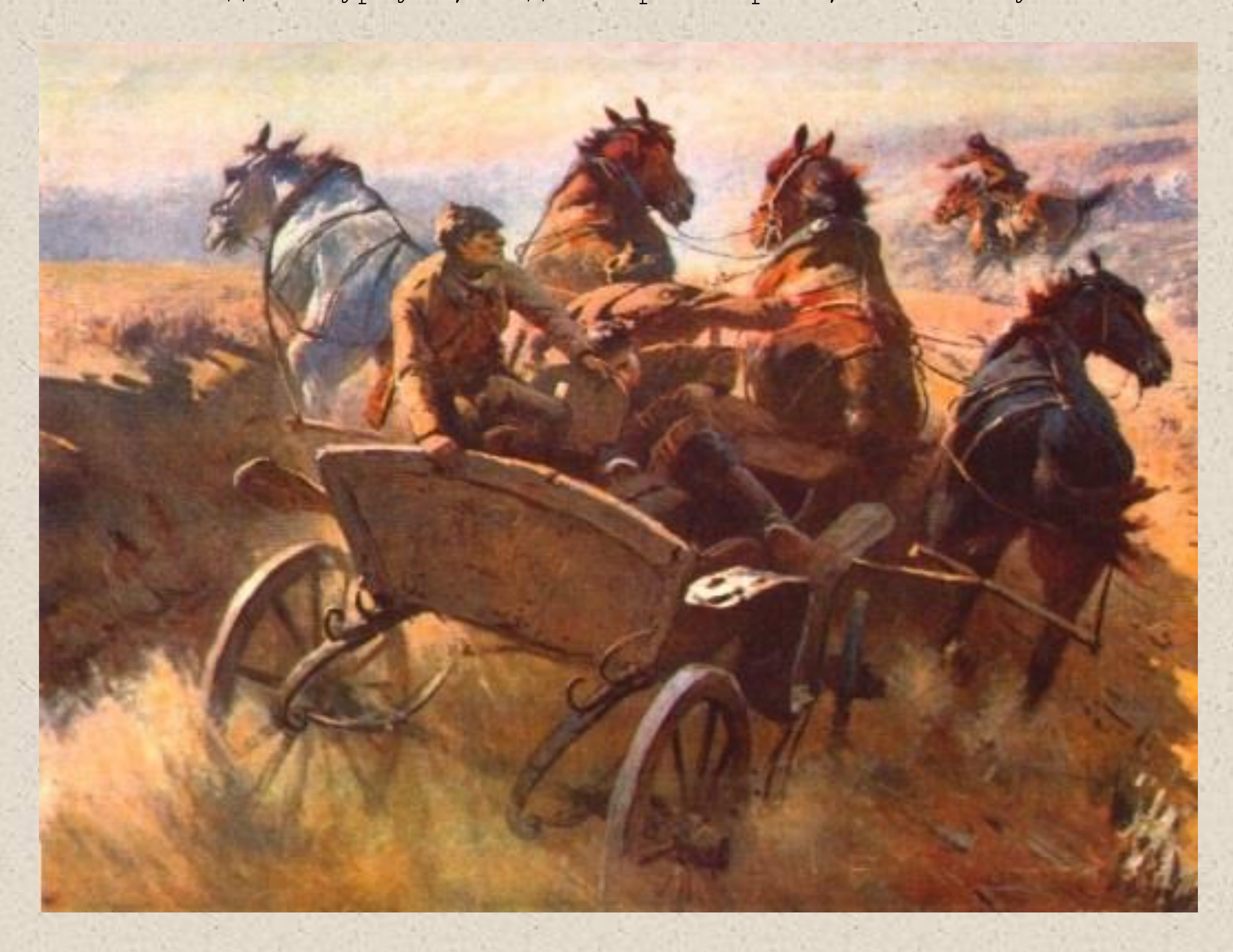
§175.

Савицкий одобрительно хмыкнул на мою просьбу, и меня назначили пулеметчиком в артиллерийский расчет на тачанку.

Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждelся наш обычай: рубить - тачанка - кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков был Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту,

артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков был Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевали городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывал сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требовал от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.



Армия из тачанок обладала неслыханной маневренной способностью. Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить - немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, - они переставали быть боевыми единицами. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводил в боевое состояние; еще меньше времени требовалось, чтобы демобилизовать ее. У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвовала столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжали только на бричках.

На своей тачанке я отправился к передовой под командованием эскадронного Трунова. Мы прошли несколько стычек, в которых я получил боевое крещение, а потом начались затяжные бои под Бродами. Мы с эскадроном кавалеристов двигались на подмогу нашим частям через раскрытые ладони малоросских полей, когда на землю опустился скулящий вой и Трунов показал четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака над

нашей позицией. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

- По коням! - закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Мы с нашей тачанкой остались посреди поля.

- Нарезай винты, ребята, - сказал нам Трунов, и кровь ушла из его лица. Стало понятно, что он решил вступить в смертельный бой с американцем.

На косо выдранном листке бумаги гигантскими мужицкими буквами Трунов написал: "Имея погибнуть сего числа, - написал он, - нахожу долгом приставить расчет тачанки к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному..."

Насколько велика была моя отвага? Готов ли я был принять самоубийственную схватку вместе со своим командиром (я могу это сделать, только если у меня боевитый характер и достаточно мужества – использую КЛЮЧ «Боец» или «Дебошир»), или же я решил по-тихому седлать коня и мчаться прочь галопом от собственной могилы? - 224

§176.

Тем временем мировая война закрутилась в Европе не на шутку. На фронт под одну гребенку теперь косили всех – правых, левых, благонадежных, неблагонадежных – хватай винтовку и шагай. Уберечь от призыва могли только надежные связи. Были ли таковые у меня?

Если у меня есть КЛЮЧИ "Цех поэтов" или "Будетляне", я могу перейти на главу, соответствующую любому из них. Иначе иду на 209.

§177.

Теперь иду на 285.

§178.

Я сделал движение вперед, но в ладони Мака уже чернел вороненым дулом мне в живот увесистый комиссарский наган-самовзвод.

- Спокойно, ваши доводы исчерпаны, - с той же неизменной вежливостью сказал Мак. - Теперь покиньте помещение.

Я не рискнул даже взглянуть ему в глаза. Молча развернувшись, я вышел и покинул его проклятую квартиру. На обратном пути мы всю дорогу молчали, не сговариваясь, завернули в Елисеевский за

вином и только к вечеру разговорились, обсуждая реальность угрозы Мака. Иду на 182.

§179.

- Ошиблись, барышня, - сказал я. - Я не простой прохожий, я - поэт! Поэт будущего. Если ваш вкус завял на середине прошлого столетия, то в этом моей вины нет.

- Вот как, - в ее глазах разгорелся интерес. - Однако я не соглашусь с вами. Мой вкус не завял, я лишь не такая воинственная, как вы. Прочтите мне еще ваших стихов!

Если я согласился, то иду на 8, если я обиделся и отказал незнакомке, иду на 64.

§180.

Строка: "Как хороши, как свежи ныне розы" - 3

Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто "лимонами", мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец - могучую советскую десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов.

Может показаться странным, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но ведь это был нэп, и в столице молодого Советского государства, центре мировой революции, имелось два игорных дома с рулеткой: одно казино в саду "Эрмитаж", другое - на Триумфальной площади.

У подъезда казино откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. К дверям стекались мутные фигуры игроков. С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице с медными прутьями, покрытой кафешантанной ковровой дорожкой.

- Эй, господа молодые люди! - кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики и синих поддевках.- Куда же вы прете не раздевшись!

Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих худеньких летних пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку, страшные существа с еще более страшными названиями - "частники", "нэпманы" или даже "совбуры", советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.

Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки "от Зеленкина" из солодовниковского пассажа. Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться через них всех было нелегко.

Но нам с другом все-таки удалось протереться к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей. Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал:

- Пардон. Это мое стуло. Вас здесь не сидело.- И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.



Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.

- Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? - озабоченно спросил друг.

(Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш: получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками - таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает.)

- Ставим на красное,- решительно сказал я.

Друг долго размышлял, а потом ответил:

- На красное нельзя.

- Почему?

- Потому что красное может не выиграть,- сказал он, пророчески глядя вдаль.

- Ну тогда на черное,- предложил я, подумав.

- На черное? - с сомнением сказал друг и задумчиво вздохнул. Нет, дорогой...- Он назвал мое уменьшительное имя.- На черное нельзя.

- Но почему?

- Потому что черное может не выиграть.

В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками.

Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого зловещего зеро Помгол - Комиссия помощи голодающим Поволжья - и содержал свои рулетки.

Куда поставить?

На красное - 211

На черное - 277

§181.

Не скажу, что слава моя была столь уж лучезарна, но публикации принесли мне определенную известность, и сей факт не мог не тешить моего себялюбия. Но как распоряжался я своим триумфом?

Быть может, я упорно трудился на ниве творчества, и гастроли, а так же выступления с поэтическими вечерами захватили меня в свой круговорот? - 210

Или же я погрузился в роскошь богемной жизни, которая вновь забурлила во всем своем пестром неистовстве в этот короткий период изобилия? - 187

Или же я был одержим музой творчества, которая прочно поселилась в моем сердце, и единственное стремление, которое вело меня - это было стремление творить? Если у меня есть КЛЮЧ “Незнакомка”, я могу воспользоваться им, что бы двигаться в этом направлении.

§182.

Строка: “Души моей, утопленной в вине.” - 5

Долго совещаясь, мы так и не сумели вычислить истинную степень опасности Мака для нас. Друг твердил, что он не позволит мне подвергать себя опасности из-за него, и, в конце-концов, было решено отпустить дружочка с богом. В тот вечер мы выпили бессчетное количество бутылок вина, читали друг другу стихи - свои и чужие, плакали, обнимались, со скрежетом зубов целовались

взасос и все никак не могли утихомирить сблизившее нас еще больше горе.

Внешне мой друг легко перенес разрыв со своим дружочком - даже несколько помолодел. Но в душе его навсегда остался кровоточащий, незаживающий рубец от несчастной первой любви. Я знал это лучше кого бы то ни было, но всегда старался утешать себя тем, что именно эта боль, причиненная ему дружочком, сделала лирику моего друга такой чистой и недостижимо возвышенной. Иду на 219.

§183.

Строка: "Но не прельщают сладкие прогнозы" – 5

И вот война кончилась, и нас бросили обратно в Москву. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал его. Когда-то мы романтично звали его Червовым Валетом. Он был одним из завсегдатаев наших литературных собраний, братом-поэтом, прекрасным отголоском безвозвратно сгинувшего прошлого.

И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду, а я стал складывать в сундучок его рассыпавшиеся вещи.

Здесь все было свалено вместе - мандаты агитатора и памятники еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня - страницы "Песни песней" и револьверные патроны.

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я – едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, - я принял последний вздох моего брата.

Пишу ВЕХУ «Красноармеец» и возвращаюсь в Москву, к ее привычной суете, на 190.

§184.

Строка: "Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране..." – 4

Гумилев воспринял мой стих весьма тепло:

- Мысль, как литературный прием, у вас особенно находится в загоне. Вы даже как будто бравируете своим отношением к ней, создавая стихотворения, где нет ничего, кроме образа, страстного порыва. Ваши переживания исчисляются секундами, но как светлы эти секунды. И стихи ваши, сплошь и рядом лишенные структуры, живут, как пущенная стрела, пронизывающим их трепетом полета.

Подобно многим другим стихотворениям того периода, оно возвещало гибель нынешней власти и, вместе с ней, всего существующего уклада жизни.

С тех пор я стал завсегдатаем в творческой мастерской Цеха. Когда меня забрили в армию, Гумилев лично помог мне оказаться в списках на «волчьи» билеты. Он тогда многим помог проскочить. Говорил: "Воевать должны солдаты. Литераторов нужно спасать" - хоть и сам потом ушел на войну. Если у меня есть ВЕХА "Анечка", иду на 171, иначе иду на 104.

§185.

Как это было ни удивительно для меня, не верящего в успех предстоящего мероприятия, но жадно мечтающего о нем, Гумилев согласился взять меня с собой. В связи с выбыванием компаньона, поэт находился в затруднительном положении и никто из его знакомцев не мог помочь путешественнику в беде - экспедиция в Африку была весьма дорогостоящим мероприятием и подготовку к нему следовало начинать намного загодя до отъезда: привести в порядок все дела, написать завещание, получить все необходимые удостоверения, рекомендательные письма, подготовить инвентарь, который потребуется в дороге как то: палатку, ружье, седло, вьюки и прочее прочее.

Меня спасало то, что никаких особых дел завершать мне не требовалось - какие могут быть дела у бедного студента, только недавно вышедшего из гимназии. Даже напротив - обстоятельства требовали моего скорейшего отъезда. Свое подготовленное

снаряжение друг поэта любезно согласился отдать мне по бросовой цене в долг, так как ему оно все равно было без пользы, и по счастливому стечению обстоятельств оно подошло мне, так как мы оказались почти одной комплекции. Отправиться же в путь по всем необходимым бумагам друг поэта великодушно позволил мне под своим именем. Для меня сей факт был невероятно удобен, дабы незаметно улизнуть из страны, для других же он являлся бы ударом по самолюбию, так как не сохранялось бы никаких документальных свидетельств о совершенном ими подвиге.

Самое сложное заключалось в том, что в поездку мне требовалось вложить все имеющиеся у меня сбережения и еще остаться в долгах. Обратно на Родину я вернулся бы бедняком. Если я согласен на такие условия, иду на 124, иначе - на 39.

§186.

§187.

Это был один из тех моментов кутежа, что запоминались исключительно своей бессмысленной искристостью и тяжелой головой на утро. Лепное великолепие ресторанного фуршета, изысканные явства на столах и страстное биение ритма жизни в висках. «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро!.. Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! Ананасы в шампанском - это пульс вечеров!»

К нашему столику, неуверенно шагая, подошел человек. Он был в черной бархатной блузе. На груди у него висел большой белый кисейный бант. Лицо этого человека было обсыпано пудрой, губы и брови подведены. На лице улыбка - пьяная и немного оконфуженная. Кто-то сказал:

- Сережа, садись с нами.

Теперь я увидел, что это Есенин. Он грузно сел за наш столик. Сердито посмотрел на какого-то пьяного, пробормотал: "Дам, в морду... уходи..." Я погладил руку Есенина. Он успокоился и снова улыбнулся как-то сконфуженно и жалко. За краской его намалеванного рта я различил бледные губы. Есенин что-то сказал официанту и тот принес ему стакан рябиновки. Закрыв глаза, Есенин пил и я видел, как с каждым глотком к нему возвращалась жизнь. Щеки его делались ярче, жесты уверенней, глаза зажглись. Он хотел снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я попросил его почитать стихи... Есенин согласился почему-то с готовностью и даже с радостью. Встав со стула, он принялся читать поэму "Черный человек". Вокруг столика стали собираться люди. Кто-то сказал: "Это Есенин». Еще минута, и Есенин стоял на стуле и, жестикулируя, читал свои короткие стихи. Он делал это чудесно и с таким чувством и с такой болью, что это всех потрясало. Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех,

видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину.

Закончив читать, Есенин, не до конца еще протрезвевший, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с Маяковским.

- Послушай, друг,- говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом. - Ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он тебя печатает в своем "Лефе". Подлецы нас поссорили. А я его, богом клянусь, люблю и считаю знаменитым русским поэтом, и, если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя, в Водопьяном переулке, стесняется своих футуристов, лефов или как их там - комфутов, пропади они пропадом. Вот те крест святой! Ты меня только поведи к нему на Водопьяный, а уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу!

Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с Маяковским, чтобы приводить в Водопьяный переулок незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще, чего доброго, дадут по шее и что я вовсе не уверен, будто Маяковский действительно втайне любит его. Но Есенин не отставал.

- Пойми, какая это будет силища: я и он! Да у нас вся русская поэзия окажется в шапке.

Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться.

- Тогда ладно,- сказал Есенин,- не хочешь вести меня к Маяковскому, так веди меня к его соратнику Коле Асееву, а уж он меня наверняка подружит с самим. Асеев у него первый друг, а тебя Коля любит, я знаю, ты с ним дружишь, он считает тебя хорошим поэтом.

Есенин льстиво и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы. Если у меня есть КЛЮЧ «Эксцентрик», значит я действительно имел вес на левом фронте искусств и мог при желании свести Есенина с Асеевым, если же нет – продолжаю разговор на 297.

§188.

Строка: “В сердцах людей, прозрачны и ясны” – 3

- Лизонька, я посвящу вам свои стихи! - воскликнул я. - Вы - гений чистой красоты! Ваша душа - нежнейшей свежести цветок! Мы все ляжем в эту землю - и вы, и я - но стихи будут жить. Столетиями они будут переходить от потомков к потомкам и вас не забудут никогда! Ваш образ - прозрачный и ясный, всегда будет в их сердцах!

- Спасибо, - прошептал мой белокурый ангел. - Спасибо, милый друг. Позвольте, я вытру слезы. Вот - я уже не плачу. Прижмите меня к себе покрепче, и запомните меня, мой милый поэт.

До самого вечера мы гуляли вдвоем. Мы старались, как могли отдалить минуту разлуки. Держась за руки, словно дети, мы бродили под равнодушным февральским небом, и не существовало на свете людей ближе и роднее нас. Иду на 150.

§189.

Я вошел под сень кладбищенских дубрав. Здесь, в земле мертвых, всегда царил особенный дух. Покой и тишина властвовали безраздельно. Камень холодных плит мерял землю угрюмыми вехами скорбных наделов, право на коий закреплено за каждым ушедшим. В вековом умиротворении здесь рядом лежали те, кто дрался за землю и те, кто не хотел ее отдавать, те, кто вспахивал и засевал, и те, кому до земли не было совершенно ни какого дела - каждый в посмертии получил свой законный отрез.

Я проходил молчаливые аллейки, устланные неровными пятнами плиток. Воздух здесь всегда был невероятно свежим - в эту тихую обитель оконченных судеб можно было стремиться лишь за тем одним, что бы надышаться вволю этими ароматами сырой коры и холодного камня, концентратом умиротворения, осевшим за долгие годы на черных плитах и посеревших крестах. “Спите. Забудьте слова лучезарных...”

Вдалеке, почти у самой ограды, кого-то хоронили. Там, среди совсем еще свежих могил, собралась внушительная толпа народу. Должно быть, усопший был лицом весьма известным. За стволами мелькали траурные цилиндры и белые ленты шарфов.

Я решил подойти к толпе людей и полюбопытствовать, кого же там хоронят - 144

Или же я не стал нарушать своего уединения и направился в другую сторону? - 114

§190.

Шел третий год революции. В преддверии нэпа Москва казалась непознаваемой, как страшный сон, и в ней происходили удивительные вещи. Исчезали и возникали отдельные здания и целые кварталы, с места на место, как неприкаянные путники, странствовали памятники.

Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжилотдела. Образовалась коммуна поэтов. В реквизированном особняке при свете масляных и сальных коптилок мы читали по вечерам стихи, в то время как в темных переулках города, лишенного электрического тока, возле некоторых домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами, и над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семиэтажный дом губчека, где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье бежавшей из города контрреволюцией, а утром па стенах домов и на афишных тумбах расклеивались списки расстрелянных.

Мы не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы - дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников. Мы - разночинцы. Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было. Революция открыла для нас неограниченные возможности. Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и "все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся". Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья.

Шло время, и вот случилось так, что мой единственный и самый преданный друг нашел свою подругу жизни. Ей стала молоденькая, едва ли не семнадцатилетняя, веселая девушка, хорошенькая и голубоглазая, как нельзя более соответствующая стихам из "Руслана и Людмилы": "...есть волшебницы другие, которых ненавижу я: улыбка, очи голубые и голос милый - о друзья! Не верьте им: они лукавы! Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы..." Откуда она взялась, не имеет значения. Ее появление было предопределено. Только что у нас окончательно установилась советская власть, и мы оказались в магнитном поле победившей революции, так решительно изменившей всю нашу жизнь. Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков

старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей.

"...улыбка, очи голубые и голос милый..." - такова была первая любовь моего друга, а то, что "она лукава", выяснилось позже.



Ах, как они любили друг друга - мой единственный и преданный товарищ и его дружок, дружочек, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех, и мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья. Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами.

Тогда, среди прочих завсегдатаев, у нас любил бывать один солидный служащий из губпродкома. По первым буквам его имени, отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращенное название Мак. Ему было лет сорок, что делало его в наших глазах стариком. Он был весьма приличен, вежлив, усат, бородат и, я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружочка.

Когда они успели договориться, неизвестно. Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом объявила моему другу, что она вышла замуж за Мака и уже переехала к нему. Она нежно обняла моего товарища, стала его целовать, роняя прозрачные слезы, объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность

получать продукты, и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что мой друг навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым друзиком, слоником, гением и что она не забудет нас и обещает нам продукты.

Тогда я еще не читал роман аббата Прево и не понял, что дружочек - разновидность Манон Леско и что тут уж ничего не поделаешь. Мой друг в роли кавалера де Гри грустно поник головой. Он начитался Толстого и был непротивленцем. Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов, на что она, весело смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака, но только стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака, похищена.

 - Это будет так забавно, - прибавила она,- и я опять вернусь к моему любимому слоненку.

Так как мой друг по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании. Подойти к этому вопросу я должен был со всей серьезностью. Мак мог оказаться серьезным противником, наверняка у него даже был револьвер. Так что мне было необходимо предстать перед ним в очень убедительном виде.

Что я мог использовать на вооружении:

если у меня есть КЛЮЧ "Сломанный нос", я мог изобразить с помощью своей грозной внешности бывалого блатаря и припугнуть Мака суровостью уголовных понятий.

если за годы жизни серьезные телесные травмы исказили мой облик, придав ему особую внушительность, я могу использовать КЛЮЧ "Колченогий".

Если у меня есть КЛЮЧ "Мундир", я мог с помощью этого атрибута и военного опыта добавить представительности своей персоне.

Если у меня не было никаких из вышеперечисленных рычагов давления, я мог пойти ва-банк - 202 или же вовсе отказаться от этой затеи - 182

§191.

Хочу сказать несколько слов о структуре Добровольческой армии. Собственно говоря, ядро армии состояло из четырех дивизий: Корниловская, Марковская, Алексеевская и Дроздовская. Мы не носили золотых офицерских погон старой армии, а только матерчатые погоны с таким же количеством звездочек, которые соответствовали чину. И были разные цвета, различавшие дивизии.

За это наши формирования получили название "цветные войска", и большевики довольно-таки побаивались нас, когда знали, что против них стоит какой-нибудь "цветной" полк. Цветные погоны носили только старые добровольцы, то есть те, которые участвовали в великой войне. Все остальные офицеры, которые переходили к нам из Красной Армии или просто обитались в тех местах, которые занимала наша армия, носили обыкновенные офицерские погоны и только потом, уже по прошествии довольно долгого времени, они удостаивались чести носить цветные погоны.

Если у меня есть КЛЮЧ «Боец» и нет КЛЮЧА «Дебошир(99)», пишу его себе. Иду на 212.

§192.

Теперь иду на 285.

§193.

Строка: «Кудах-
тах-
тах!
За что все это мне?» - 1

Я ответил Тафари вежливым отказом, так и не осознав до конца, чем являлось его предложение - действительным предостережением или испытанием силы той дружбы, что связывала двух белых чужаков. По возвращению в гостиницу я ничего стал рассказывать Гуми и подробностях своего визита к дедьязмачу.

Получив, наконец, все необходимые бумаги и составив караван, мы продолжили свой путь на юг, через малоизученные земли народа галла к селению Шейх-Гуссейн. Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонировали со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Я в дороге я занимался сбором насекомых. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев - красных, синих, зеленых и золотых. Я собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Во время одной из таких вылазок я и попался в коварную ловушку природы на берегу. Когда я, забыв многочисленные предупреждения абссинцев, неосторожно подошел к кромке воды, огромный крокодил внезапно атаковал меня из воды.

Подоспевшие ашкеры сумели отбить меня у прожорливого чудовища, но раны, полученные мною, были ужасны. Я потерял ногу по колено и кисть руки. После срочной операции, которую провел караванный врач, чтобы спасти мою жизнь, пришлось немедленно поворачивать в Харрар. Тревожное предсказание раса Тафари сбылось.

Оставив меня на попечении своих харрарских друзей, Гумилев продолжил экспедицию вглубь континента, а для меня это путешествие подошло к концу. На обратном пути Гуми забрал уже окрепшего меня, и мы вместе вернулись на Родину. Но предначертанное случилось – моя преданность Гумилеву сгубила меня. Пишу КЛЮЧ «Колченогий(170)» и иду на 104.

§194.

В штабе снисходительно отнеслись к моей литературной склонности и предложили сочинить что-нибудь проникновенное, в духе времени. Какие строки легли на бумагу из под моего пера? Что за осколкеи своей души представил я на суд офицерской публике?

И кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране.
Кому-то гремят раскаты:
— Гряди, жених!
Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.

Глаза над улыбкой шалой —
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом —
Солдатский крест!

Народы призвал к покою,
Смирил озноб —
И дышит, зажав рукою
Вселенский лоб. - 262

Или

Нас было мало, слишком мало.
От вражьих толп темнела даль;
Но твёрдым блеском засверкала
Из ножен вынутая сталь.
Последних пламенных порывов
Была исполнена душа,
В железном грохоте разрывов
Вскипали воды Сиваша.
И ждали все, внимая знаку,
И подан был знакомый знак...
Полк шёл в последнюю атаку,
Венчая путь своих атак. - 221

Или

Ты получишь обломок браслета.
Не грусти о жестокой судьбе,
Ты получишь подарок поэта,
Мой последний подарок тебе.
Дней на десять я стану всем ближе.
Моего не припомня лица,
Кто то скажет в далёком Париже,
Что не ждал он такого конца.
Ты ж в вещах моих скомканных роясь,
Сохрани, как несбывшийся сон,
Мой кавказский серебряный пояс
И в боях потемневший погон. - 259

§195.

- Где дружочек? - грубым голосом спросил я.

- Видите ли...- начал Мак, теребя шнурок пенсне.

- Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка. Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь живее!

Мак побелел и его тонкие губы сжались в полоску.

- Я попрошу вас соблюдать приличия в моем доме, - проблеял он. Я заметил, как рука Мака поползла к стоящему на полу ящику сейфа. «У него там револьвер!» - мелькнула в голове шальная мысль.

Если у меня есть КЛЮЧ «Боец» или «Дебошир», я могу воспользоваться одним из них, что бы попытаться успеть перехватить Мака, иначе я иду на 178.

§196.

Строка: "А здесь весь год неспешно вянут лозы" - 5

Я напивался там, в самом сердце всеевропейской художественной Мекки, наравне с другими. Мечтал отыскать на дне бокала тот символ, тот рычаг, при помощи которого можно было бы перевернуть мир старого искусства и старой эстетики. И как другие неудачники, не находил этот Грааль, достававшийся лишь избранным гениям. Но я не мог остановиться в своих поисках, и жадно, со страстью, на последние деньги, стремлся сделать еще хоть один глоток…

Ты видишь на горе кабак —
Он Шустрым Кроликом зовется.
Там легкий плющ на стенке вьется,
Там летом знойным рдеет мак.
Иди туда. Легко там пьется
И сидр, и виски, и коньяк…



Здесь, на Монмартре, всегда было много тех, кого парижане называли апашами. Слово apache, которым по-французски с конца XVIII века именовали племена воинственных индейцев Северной Америки (по-русски апачи), в 1902 году внезапно обрело новый смысл: издание «Ле Матэн» назвала апашами молодых хулиганов с окраин Парижа. Они, своего рода дикари в городе, устроили побоище прямо в центре Парижа. Газеты взволнованно писали, что число этих молодых хулиганов достигло 30 тысяч и они превратились в настоящую социальную опасность. Апаши пугали, но и одновременно привлекали благообразных чинных парижан своей легкой распутной жизнью.

Знойные и грациозные апашки были прекрасны, словно дикие кошки. Проститутки, певички, танцовщицы - они виделись мне жемчужинами, затерянными в навозной куче городских трущоб. В одну из таких барышень меня и угораздило влюбиться.

Два трехугольника Астарты
Ее глаза,
И неверней удара в карты
Ее слеза.
Она верна, покуда знойность
Любви верна,
Она стройна, покуда стройность
В крови сильна.
Она стареет с каждым годом,
Но молодой
Умрет на радость пешеходам
На мостовой.

Наши встречи были бесконечными канонадами поцелуев - на улицах, за столиками, в подворотнях, на этажах зданий. Оканчивались свидания неизменной любовной агонией. Я никогда в жизни не знал жарче губ, чем ее губы. Я безвозвратно тонул в антрацитовом блеске ее глаз и бесконечно мог вдыхать французский аромат ее волос.

Однако итогом нашей пламенной страсти едва не была моя гибель. Ее друг - пылкий ревнивец - однажды застал нас вместе. Если у меня есть КЛЮЧ "Боец" или "Дебошир", я могу воспользоваться им. Иначе иду на 217.

§197.

К тому времени Анечка уже развелась с Гумилевым и была совершенно свободна. Держась за руки, как играющие дети, мы с ней ходили по городу, садились в трамваи, ехали куда-то, пили чай в трактирах, сидели на деревянных скамейках вокзалов, заходили на дневные сеансы кинематографов, смотрели картины. Однажды каким-то образом мы очутились в самый разгар палящего дня в Сокольническом запущенном парке, в самой глуши леса, в безлюдье, лежа в высокой траве, в бурьяне, пожелтевшем от зноя, среди поникших ромашек, по которым ползали муравьи, трудолюбиво выполняя свою работу.

Анечка сняла и отбросила в сторону шляпу, портившую ее прелестное круглое личико. Лежа на спине, она неподвижно смотрела изумрудными глазами в небо. Я подсунул руку под ее нежную шею. Анечка полуоткрыла жаркие губы, как бы прося напиться: над нами парами летали некрасивые московские бабочки.

Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился – он что-то скажет...
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь...

- говорила она потом о той нашей встрече. Она была гениальной поэтессой.

- Лала, моя Лала, - шептал я в ее безупречное сахарное ушко, давая ей в самый сокровенный миг новое крещение, священное для нас двоих, нарекая свою единственную именем, которое было прославлено восточными мудрецами в их страстных руладах. Я уподоблял нас легендарным любовникам - Мэджнуну и Лале, чью трагическую историю воспевали мастера Низами и Физули. От этого имени веяло жаром бескрайних пустынь, как и от нее самой, моей единственной...

Когда момент нашей близости миновал, Лала, уже переодевшаяся для меня раз и навсегда в свое новое имя, поправила щелкнувшую подвязку и села. А знойный день все продолжался и продолжался, переходил в вечер, потом в душную ночь с зарницами, и мы ходили по Москве, по ее Садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояло из садиков перед маленькими домиками, потом по Бульварному кольцу, мимо Пушкина, Тимирязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Сивцева, Вражка и Собачьей площадки пока, наконец, не очутились возле храма Христа
Спасителя и сели, измученные, на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары, прижались друг к другу, немного вздремнули…

Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета, и мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа, началась всемирная война и город вокруг нас был уже умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас - ни ее, ни меня - уже нет в живых, наши души отлетели и только остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишенного божества,

хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья.

Когда наваждение сгинуло и Лала подняла от моего плеча свое заспанное личико, я понял что нужный момент настал и сделал ей предложение. Но как именно оно прозвучало тогда, в дыхании предрассветной прохлады?

Может быть, в духе того времени я предложил Лалочке расписаться гражданским браком, зарегистрировав нашу семью в отделе гражданских состояний и поселиться на общей площади - 266 или же я не признавал новомодной легкомысленности в отношениях и хотел соединить наши души узами истинного христианского брака, не взирая на общую немилость к церкви, сложившуюся в молодом советском государстве? - 280.

§198.

Теперь иду на 160.

§199.

Строка: "И светлый челн скользит на буруне" - 5

Война была для меня Чистилищем и я метался по полям сражений ангелом смерти. Без страха шел под пули и без сожаления, как то монотонно, стрелял во врага. Спустить курок, направив винтовку в рвущегося навстречу человека тяжело было только в первый раз. Потом уже выходило как то само собой. Преодолев себя однажды, я стал совершенно другим внутри.

В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, я был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Многие солдаты, такие же желторотые юнцы как и я, бывало, не делали ни одно выстрела по неприятелю, не найдя в себе силы прервать человеческую жизнь. И многие из них не возвращались назад, оставаясь лежать там, на полях сражений, сжимая в мертвых руках винтовки с полными магазинами.

Неприятельские траншеи близко сходились с нашими. Бывало, я вставал на банкет бруствера, из-за которого немцы и наши перебрасывались ручными гранатами, и, нисколько не думая, что являюсь живой целью, весь уходил жадными глазами в зеленеющие дали. Там - в сквозной дымке стояли обезлиствившие от выстрелов

деревья, мерещились развороченные снарядами кровли, зияла иззубренным пролетом раненая колокольня и плыла, едва-едва поблескивая, река.

Я был открыт до пояса под вороneными дулами оттуда. По мне били. Стальные пчелы посвистывали у самой головы... Товарищи говорили: "пытает судьбу". Другие думали: для чего-то, втайне задуманного, испытываю нервы. А я не сходил со своего опасного поста, пока соседи не хватали меня и не стаскивали вниз. В моей голове просто не укладывалась такая простая мысль о смерти, она упорно не желала поселиться там. Я будто бы не чувствовал собственного естества. Я мнил себя лермонтовским парусом.



В атаках я был всегда впереди. Меня дурманило боевое одушевление. Я почему то знал - смерть не здесь, не в поле боевом. Она, как вор, подстережет меня негаданно, внезапно. Я видел ее вдали в скупом и тусклом рассвете, а не красной точкою на виске.

Как ни странно, войну я прошел без единого ранения. Получил два “солдатских” Георгия за храбрость. Только они и остались у меня памятью о том смутном времени - железные крестики на потрепанном солдатском мундире. А потом власть в очередной раз переменилась. Вышел “Декрет о мире” и война была кончена. Пишу себе КЛЮЧ “Мундир(215)” и КЛЮЧ “Боец(152)”, если у меня не было такого КЛЮЧа. Иду на 104.

§200.

В те годы я порой бывал в Академии Стиха, устроенной Вячеславом Ива́новым у себя на квартире. Своим эллинистическим подходом к сути русской просодии мэтр лил немало воды на мельницу довольно скучных воскрешателей античных ритмов в русских звуках, но его рассказы раскрывали тайны анапестов, пеонов и эпитритов, "народов" и "экзодов". Все это оживало на занятиях в музыке русских, как классических, так и современных стихов.

Быт выступа пятиэтажного дома, или "Башни", - представлялся мне уникальным для того времени: жильцы притекали, ломалися стены, квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат и бездверных передних. Ее составляли квадратные комнаты, ромбы и секторы. Коврики заглушали шаг, книжные полки высились меж серо-бурявых ковриш, статуэток и качающихся этажерочек. Этот закуток - музеик; тот - точно сараище; войдешь, - забудешь в какой ты стране, в каком времени, все закосится и день будет ночью, ночь - днем; даже "среды" Иванова были уже четвергами - они начинались позднее двенадцати ночи.



Однажды меня зазвал туда Гумилев, обещая показать некую “превосходную штуку”. То было очередное занятие Про-Академии, как мы ее называли. Хозяин дома княжил, окруженный почтительными учениками. С Гумилевым у Иванова были сложные отношения. Вячеслав Иванович постоянно нападал на Николая Степановича за его независимую манеру писать, а нас ужасно забавляло, как этого совершенно здорового 44-летнего человека холили седые дамы, и одна небезызвестная актриса сбегала с репетиций, чтобы пледом

укутать ноги Учителя. Он играл кого-то, кто никогда не существовал и не должен был существовать.

Подали чай и по воздуху разлились тщательно выверенные академические стихи, перевитые алкеевыми, сапфическими и архилоховыми строфами, убаюкивающие и переливчатые, звучащие как этюды никому не известных композиторов давно почивших столетий. Мучительно захотелось курить, но здесь дымить во время чтения было не принято. И я решил:

сдержаться, ведь как человек, разбирающийся в поэзии и ценящий ее, я должен был быть в курсе всех тенденций развития словесного искусства и не упустить «штуку», обещанную Гумилевым - 82

или я вышел перекурить на лестницу, подумав, мол, за пару минут ничего знакового все одно не случится - 94.

§201.

- Жениться тебе надо, - однажды сказал мне мой друг, единственный и самый преданный, глядя на мое безысходное положение. - Все твои беды исходят исключительно из твоей холостяцкой жизни. Есть у тебя какая барышня на примете, которой ты мог бы оказать внимание?

Заявление друга повергло меня в крайнее замешательство. Может быть, и вправду вся моя жизненная оказия складывалась из-за недостатка женского тепла? А к кому бы я мог посвататься? Была ли среди моих знакомых та, единственная, которую я бы хотел видеть своей женой?

Я мог быть предан только своей очаровательной Лизоньке, если у меня есть ВЕХА с ее именем - 254

Я мог просить руки Анечки, если у меня есть ВЕХА с ее именем. - 197

Я мог рассчитывать на союз с Марией, если у меня есть ВЕХА с ее именем. - 261

В моей душе, возможно, по-прежнему пылала страсть к Лили, если у меня есть ВЕХА с ее именем - 127

Если у меня есть ВЕХА "Слава", то я мог искать какого-нибудь варианта заключить брак по расчету, намереваясь за счет этого улучшить свое довольствие - 276

Или я мог вовсе не желать ни с кем брачного союза или не иметь подходящей кандидатуры - 140

Если у меня есть ВЕХА «Неудачник», то я не могу воспользоваться ВЕХАМИ «Анечка», «Мария» и «Лили», а так же жениться по расчету.

§202.

В условленное время мы отправились за дружочком. Мой товарищ остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком. Мне открыл сам Мак и, учтиво поздоровавшись, пригласил меня внутрь.

Мы прошли к нему в кабинет - в маленькую каморку, затерявшуюся в недрах его буржуазной квартиры. Каморка эта была заполнена кипами бумаг и папок, сложенными повсюду, а центр комнатушки занимало огромное шведское бюро. Мак заботливо освободил для меня один табурет от гор макулатуры, а сам расположился напротив - в кресле хозяина - и стал расспрашивать, по какому делу я к нему явился.

Я не стал садиться. Нужно было брать быка за рога. Но что я мог сказать Маку?

Я попытался припугнуть Мака, зная его тонкий характер - 195

Или же я решил красочно изложить Маку всю трагедию душевных метаний своего друга, дабы убедить добровольно вернуть дружочка - 151

§203.

Строка: "Кудах-
тах-
тах!
За что все это мне?" - 1

Додина жена, Мария Никифоровна, всегда радушно принимала нас. Не могу забыть ее отличный украинский борщ и крепкий чай с сахаром, которые она нам обычно подавала. В отличие от всех нас чай подносился Бурлюку, как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах.

Пока мы сидели за столом, сам Бурлюк возлежал барином на атаманной укушетке, в турецком байховом халате и при феске, потягивал губами длинный черешневый чубук, задумчиво блистал своим единственным оком и пускал в потолок кольца сизого ароматного дыма.

- Начнем наш манифест так, - говорил он. - Рог времени трубит нами в словесном искусстве!

- Академия и Пушкин — непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности, - подхватил я. Додя только одобрительно хмыкнул.

- Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Буниным и прочим — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным, - предложил Алеша Крученых. Мы обменялись с ним братскими рукопожатиями.

- С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество! - подвел итог я. За такую мысль следовало даже сдвинуть стаканы, что мы и сделали.

- Теперь надо записать новые права поэтов! - провозгласил Бурлюк.

- Я требую права на слова-новшества, - заявил Витя Хлебников.

- С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный, Венок грошовой славы, - приказал я.

- Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования, - диктовал Додя свою волю. - Славно, черт побери, славно выходит… Будетляне, надо еще название придумать, я полагаю.

- Предлагаю, - отчеканил я. - Пощечина Общественному Вкусу!

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Это он через свои знакомства внес мою фамилию в списки на "волчьи" билеты и спас меня от войны. Слабину Додя дал всего один раз, но зато решительную. Когда свершилась революция, и в стране наступил голод, он бежал вместе с женой в Америку, не желая переносить это трудное время вместе со своим народом. Мы простились как братья. Иду на 104.

§204.

Мои стихи не имели никакого успеха, я был безвестен и неприметен, как погашенный торшер в темной комнате. Хандра следовала за мной по пятам, хотя, я и не особо волновался по этому поводу. Я полагал, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного. "Пришла тоска - моя владычица, моя седая госпожа",- бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора. Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. "Меланхолики обладают чувством возвышенного",- писал Кант. А Аристотель считал, что "меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения". Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни - свойство моего ума. И, видимо, не

только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.

Но долго оставаться наедине с хандрой сил у меня не было. Порой я даже помышлял о смерти. Как пытался я отвлечь себя от тяжких переживаний?

Быть может, я упорно трудился, стараясь добиться успеха? - 210

Или же я погрузился на дно винной бутылки, не имея средств к существованию и не находя в себе сил их добыть? - 249

Или же я был одержим музой творчества, которая прочно поселилась в моем сердце и единственное стремление, которое вело меня - это было стремление творить? Если у меня есть КЛЮЧ "Незнакомка", я могу воспользоваться им, что бы двигаться в этом направлении.

А если у меня есть КЛЮЧ "Поцелуй смерти" или "Умфолози", то я обязательно использую сейчас любой из этих КЛЮЧЕЙ.

§205.

Строка: "А здесь весь год неспешно вянут лозы" - 5

Больше всего на свете Марии хотелось познакомить меня с морем. Мы отправились на одесское побережье, и вот я уже стоял на гладких прибрежных скалах, протягивал бескрайнему сияющему простору свою жилистую руку, вглядывался в выгоревшую даль неба и зачерпывал пальцами жидкий антрацит соленой влаги, будто пожимая огромную прохладную ладонь.

- Ну, давайте знакомиться, море! Я рад, что никогда не встречал вас раньше!

- Почему рады? - спросила Мария.

- Потому что теперь море для меня - это вы, - отвечал я Марии.

- Раз так - я дарю вам его на память.

- Спасибо, всегда буду носить его с собой.

- Смотрите, что бы никто не украл, - смеялась Мария.

- Я сохраню его в самом надежном месте, - я прижал ладонь к левой стороне груди, обозначая сокровенное хранилище для моря, подаренного мне Марией.

Мы молчали, и лишь безбрежная гладь колыхалась у наших ног.

- В открытом море ветер гонит то свет, то тень - и в облака сквозит лазурь... А ты забыта, ты бесконечно далека, - нараспев продекламировала Мария катрен моего сочинения. И спросила:

- Кому вы посвятили это стихотворение?

Что ответил я ей?

- Когда я писал эти строки, я представлял девушку, похожую на вас, Мария. Одиноко стоящую у кромки прилива барышню в белом платье и шляпке, задумчиво смотрящую на воду своими хрустальными глазами и ждущую того единственного, с кем ее разделяет эта бескрайняя ширь - 131

Или же я сказал:

- Я посвятил эти строки своей музе. Она из плоти и крови, но появляется и исчезает в моей жизни как призрак - неуловимая и загадочная, но пробуждающая в моем сердце огонь вдохновения, - 222.

§206.

"И вот однажды ночью возле моего дома остановилась черная машина с погашенными фарами и люди в блестящих кожаных плащах постучали в мою дверь. А потом был застенок вшивой тюрьмы, где вместе со мной метались измученные пытками смертники. Я оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты лишь о счастливых солнечных далях..."

Здесь, на последних страницах книги, в той ее части, куда обычно не дотягивается проворный нос даже самого внимательного цензора, я - автор прочтенного вами текста, а не поэт, от лица которого изложен этот якобы автобиографический труд, позволю себе сказать заключительное слово. Я не допустил в этом произведении ни одного слова лжи.

Выполняя госзаказ по созданию якобы доподлинной автобиографии своего героя, составленной им из-за границы и попавшей в Россию, я воспользовался всеми доступными мне документами и материалами, воспоминаниями очевидцев, а так же личным знакомством с поэтом, что бы создать этот труд, раскрывающий жизнь героя без прикрас, но и без мнимых чернильных пятен. Согласно легенде, воспроизведенной в самом начале этого произведения, мой герой нынче якобы проживает в Париже, где наслаждается буржуазной роскошью, тратит советские капиталы на выпивку и развлечения и шлет оттуда свои воспоминания. Однако я привожу вам здесь и другую "легенду", бытующую среди москвичей. Я воздерживаюсь повторять здесь слухи, волнующие общественность. Все равно нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие…

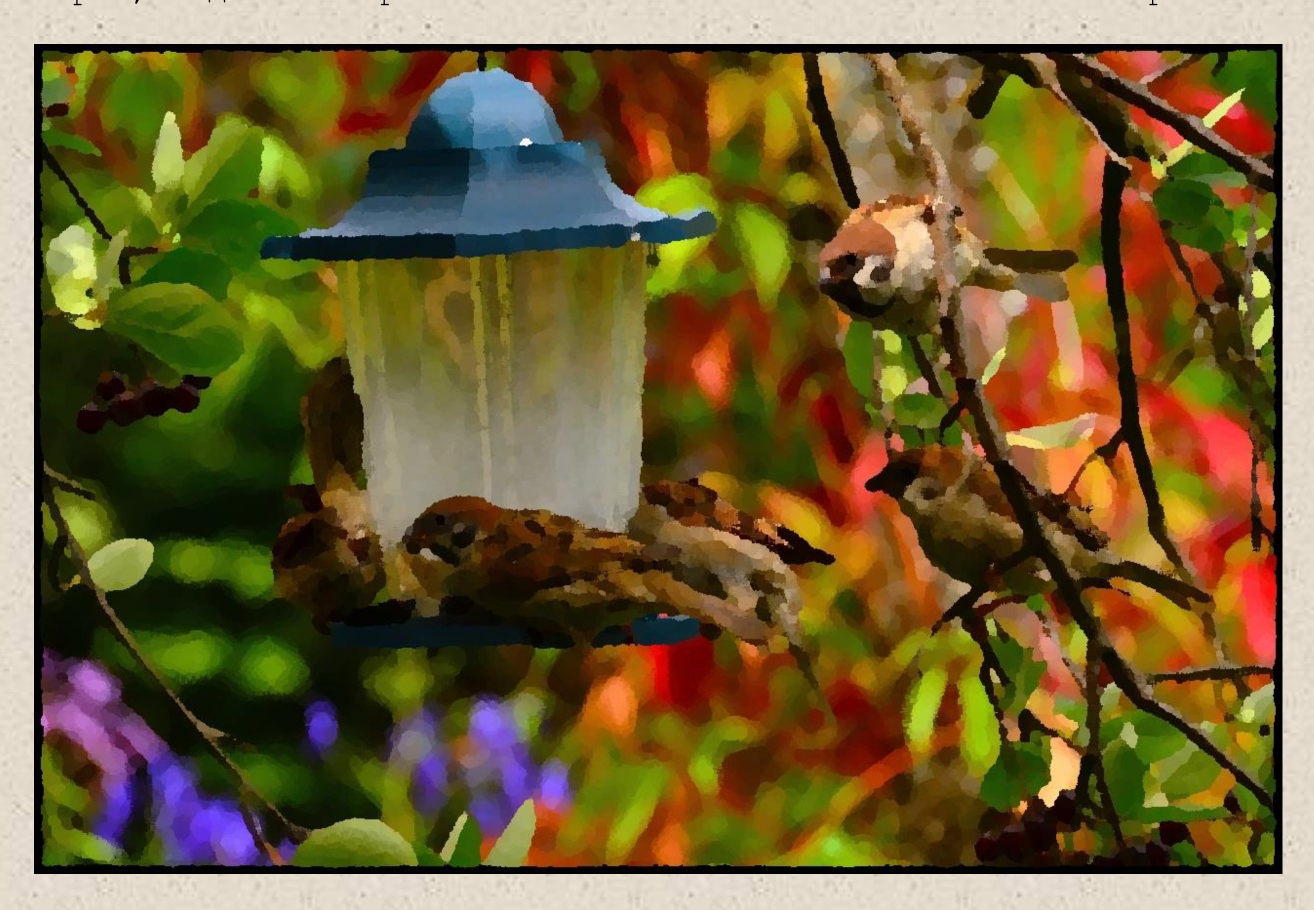
Замечу лишь один факт, в своей непримечательности способный ускользнуть от жадного внимания читателя в пучине времени. На днях, когда театр, с которым перед арестом много работал поэт, поставил его пьесу - главный труд всей его жизни, на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать: "Автора!" Пьесу велели снять с репертуара.

Поскольку пьесу эту многие из вас более никогда не встретят на сцене или в печати, я приведу здесь строку из нее, последнюю в монологе главного героя, но самую пронзительную и пророческую, которую наше правительство так яростно старалось измарать из всех публикаций и источников.

"Моей страной мне брошенные в гроб!"

(Ваш пасьянс сошелся)

Остальная же часть этого пророческого стиха известна вам уже и без меня. Мне это произведение видится пиком творчества моего героя, подлинным проявлением его акмеизма. Finis coronat opus.



§207.

Однажды мой друг, единственный и самый преданный, познакомил меня с Василием Ивановичем Шамшиным, служившим в то время в торговой фирме купца Смоленцева.

В воскресные дни, а порой по вечерам и в будни, у Шамшиных собиралась городская молодежь, иногда приходили ребята из депо. Мы пели народные песни, читали произведения русских классиков, особенно любили поэзию Пушкина, Лермонтова и Некрасова, читали роман Войнич «Овод». Присмотревшись, Василий Иванович начал давать нам и популярную политическую литературу, например, Дикштейна «Чем люди живы», Лафарга «Пауки и мухи» и другие произведения. Так со временем сформировался один из городских кружков молодежи.

Однажды Шамшин привел меня в железнодорожный клуб, где было созвано собрание рабочих и служащих, посвященное Первомайскому празднику. Там я впервые услышал ораторов — социал-демократов, которые призывали к свержению самодержавного строя.

После бурного митинга рабочие с красными флагами и революционными песнями двинулись по направлению к центру города, но их разогнали казаки.

Собрание, шествие рабочих с красными флагами, боевое настроение демонстрантов — все это произвело на меня неизгладимое, потрясающее впечатление.

В ближайшие дни, когда я, как обычно, пришел к Шамшиным, Вася меня спросил:

— Понравилось тебе собрание, речи ораторов и шествие рабочих?

- Да, — говорю, — очень понравилось.

- Я возьму тебя в одно из воскресений на собрание за городом. Добирайся до Лугового, там встретимся.

Так, постепенно время от времени Василий Шамшин брал меня с собой в массовки, устраиваемые под большим контролем патрулей и охраны в густом лесу, чаще всего за второй Ельцовкой, а изредка — на островах выше по течению Невы.

Вскоре организаторы массовок стали и мне оказывать доверие, назначая по рекомендации Васи Шамшина в патрули, поручали расклейку нелегальных листовок на улицах, переноску литературы.

Я с нескрываемой завистью смотрел на товарищей, имевших оружие — револьверы системы «Бульдог», «Смит и Вессон», или, как мы попросту называли последние за тяжесть веса, «Смит весит». И вот как-то, после одной из массовок, Вася познакомил меня с товарищем по кличке Каменотес — Андреем Полторыхиным, одним из руководителей боевой дружины РСДРП.

Каменотес предложил мне встретиться в одно из воскресений на загородной прогулке. Встреча состоялась за Сухарным заводом, в густом сосновом лесу. Собралось нас человек пять — это были товарищи, проходившие учебную стрельбу. В сентябре, когда в лесу

стало прохладно, занятия в кружках по политическому воспитанию молодежи перенесли в город, на квартиры.

Если у меня нет КЛЮЧА «Революционер(208)» - пишу его себе. Если у меня этот КЛЮЧ уже есть, пишу себе ВЕХУ «Бунтарь». Иду на 176.

§208.

Я подал прошение в генштаб и вскоре уже отбыл в южном направлении для поддержания армии Буденного. Лихое и распущенное казацкое ополчение, взявшееся воевать за молодую советскую власть, нуждалось в пополнении людьми, способными донести до них понимание этой самой власти.

Душный мобилизационный эшелон отстучал колесами положенное число суток и вот я уже брел по пыльной малоросской глуши на предъявление начальнику дивизии, к которой я был прикомандирован.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

- Вы по всему видать ученый малый... Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия - из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка.

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

- Провести приказом! - сказал начдив. - Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

- Грамотный, - ответил я. – Окончил петербургскую гимназию.

- Ты из киндербальзамов, - закричал он, смеясь, - и очки на носу. Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Ну, излагай, какой службы ищешь?

Если я мечтал попасть на передовую и идти в бой во славу Революции, скажу об этом на 175.

Если у меня есть ВЕХА «Литератор» или «Свободный поэт», я мог попроситься в агитотдел при штабе на 291.

А если у меня есть ВЕХА «Художник», я мог заявить о своем мастерстве в создании полотен на 130.

§209.

Война началась для меня внезапно. Лопоухий солдатик принес повестку, комиссия, потом военный эшелон по белорусскому направлению - и вот я уже стоял на платформе прифронтовой железнодорожной станции Молодечно. Там за околицей царила неслыханная красота потонувшего в снегах Полесья. В нетопленном станционном помещении судьба меня свела с совсем еще юным прапорщиком Снегиревым. Дальше мы вместе двигались на позиции. Добирались на почтовых лошадях. Иногда сообщения не было. Ехали в кибитке уже второй день, завернутые в одеяла и в шубы. Три лошади бежали по снегу. Кругом было пустынно. Стоял лютый мороз. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам было безумно скучно.

Вытащив из кобуры наган, прапорщик Снегирев принялся стрелять в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражали эти выстрелы. Я рассердился на прапорщика и грубо ему сказал:

- Прекрати... болван!

Я ожидал скандала, крика. Но вместо этого я услышал жалобный голос в ответ. Он говорил, обращаясь ко мне уважительно, по имени-отчеству:

-...не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют.

Я глядел на его курносый нос, смотрел в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо теперь, много лет спустя. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.

А какой была для меня эта мировая война?

Может быть, я доблестно служил своей стране. Хладнокровно и рассудочно я выполнял приказы и делал все для того, что бы добыть победу в этой войне для России - 123

Или же я придерживался антивоенных настроений, царящих в войсках, не выполнял приказов начальства и с верой в единство и братство всех народов вел саботажную пораженческую деятельность, призывая и других солдат следовать моему примеру? - 153

Или же война являлась для меня чем-то совершенно потусторонним? Быть может, оглушенный ее взрывами и видами мертвых тел, я

потерял в огнях сражений и себя и свое привычное понимание жизни, глядя новыми потускневшими глазами на этот страшный и непонятный мир, полный человеческого горя? - 199

§210.

Строка: "Я

буквоплет!

И говорю

без позы - " - 1

Я согласился на выступления в нескольких городах. Это был самый несчастный день в моей жизни. Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове. Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали, едва хлопая. Значит, чем-то я не угождал публике, чем-то ее обманывал. Чем?

Каждый вечер превращался для меня в пытку. С трудом я выходил на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портило мое настроение. Вставая в позу, я проникновенно читал свои стихи.

Кто-то сверху кричал, перебивая:

- То давай... другое... Чего ерунду читаешь?

Этого не знали. Публика по большему рабоче-крестьянская, в поэзию не погруженная. Знали одно-два моих произведения, но не мог же я растянуть их декламирование на все выступление. "Боже мой! - думал я.- Зачем я согласился на эти вечера?"

Я с тоской поглядывал на часы. На сцену летели записки. Это была передышка для меня. Развернул первую бумажку. Огласил:

- "Если вы автор этих стихов, то зачем вы их читаете?" – меня задела нелепость такой формулировок. Что хотел сказать автор записки? Что я невыразительно читаю, и стоило бы нанять профессионального чтеца? Или что мои стихи вообще не предназначены для декламации? И я крикнул в ответ:

- А если вы читатель этих стихов, то какого лешего вы их слушаете!

В публике поднялись смех, аплодисменты. Я раскрыл вторую записку:

- "Чем читать то, что мы не знаем, расскажите покомичней, как вы к нам доехали".

Бешеным голосом я кричал:

- Сел в поезд. Родные плакали, умоляли не ехать. Говорили: замучают идиотскими вопросами.

Прогремел взрыв аплодисментов. Хохот. Ах, если б мне пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесо - вечер был бы в порядке. Устроитель моих вечеров шептал мне из-за кулис:

- Расскажите что-нибудь о себе. Это нравится публике.

Покорно я рассказывал свою биографию. На сцену снова летели записки: "Вы женаты?.. Сколько у вас детей?.. Знакомы ли вы с Есениным?.." Без четверти одиннадцать. Можно было кончать. Печально вздохнув, я уходил со сцены под жидкие аплодисменты.

Я утешался тем, что это не мои читатели, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика и жонглера.

Не выполнив договор до конца, в страшной тоске я уехал в Москву. Иду на 201.

§211.

Молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, разложил лопаткой с длинной ручкой ставки и запустил белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозгласил:

- Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

Итаааак, выпало… За результатом иду на 142.

§212.

Я прибыл в штаб батареи и получил назначение в орудие, которым командовал полковник Тишевский. На первое время мне выпала должность, которая насмешливо называлась "военный корреспондент". Никакого применения мне не находилось, и во время боя я и другие военные корреспонденты собирались сзади орудия и "ждали очереди", то есть того момента, когда кого-нибудь убьют или ранят, чтобы занять его место номера около орудия.



Наше орудие стояло на позиции, и казалось, что никого ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева нет. Иногда появлялись красные - мы открывали огонь по ним и также принимали на себя огонь красной артиллерии и пехоты. Пришлось мне пройти в этом орудии первый стаж мой в Добровольческой армии. Какой судьбы искал я себе, находясь в подвешенном звании "военного корреспондента"?

Если у меня есть ВЕХА «Свободный поэт» или «Литератор», значит, я мог попроситься в агитотдел штаба и найти там себе применение, взявшись за перо – 194

Если у меня нет ни одной из перечисленных ВЕХ, значит, я мог искать себе применение на передовой, в бою с врагами – 214.

§213.

Строка: «Прошли лета, и всюду льются слезы…» - 3

Пламенея ланитами и потупив взор, Мария просила меня не бросаться такими нежностями прямо на улице и обещала навестить меня перед нашим отъездом, в четыре часа по полудню. Но шел уже шестой час вечера, а ее все не было. Я лежал, вытянувшись на диване в нашем гостиничном номере. Мы нещадно опаздывали на поезд, и друзья слезно уговаривали меня собираться в дорогу.

- Хватит! Хватит дурака валять, честно слово, киевский поезд уже под парами,- сокрушался Пиковый валет.

- Я же сказал, что не поеду, - отмахивался я.

- Нас… Вас! Ждет мать городов русских, - взывал Трефовый Валет.

- И я согласен с коллегой, - говорил мягкий и задумчивый Бубновый валет, - первая любовь не может быть счастливой! - на что Червовый валет только лишь ехидно посмеивался ему в ответ:

- Эх, милый друг, что б вы понимали, донжуанский список нашего блудного товарища подлиннее, чем у Пушкина будет.

- Поедемте, - с мольбой в голосе просил Бубновый валет, - вы же не оставите нас? – и глядя в его прозрачные глаза, что я мог ответить ему?

Что это конец нашей товарищеской экспедиции и что я, безутешный, остаюсь здесь ждать свою любовь – 231 или же у меня хватало сил наплевать на чувства и продолжить наше турне - 242?

§214.

Со временем я сделался ездовым в орудии, потом – вторым номером и, наконец, попал в конные разведчики батареи. Служба моя, главным образом, заключалась в том, что я с разведчиками выезжал перед нашими частями, которые следовали по большой дороге, и должен был оповещать о местоположении красных, если натыкался на них.

Я помню, один раз был очень густой туман, и мы издали услышали цоканье копыт по земле. Свернули в поле и оказались настолько отрезанными от дороги густым туманом, что мимо нас проехал большой конный отряд красных, которые нас не увидели, иначе бы они сразу уничтожили нас.

Мы наступали на уездный город Щигры. В этом городе произошла, может быть, самая яркая моя боевая история. В передовом отряде, которым командовал я, находилось человек восемь разведчиков. А сзади двигалось еще пятнадцать конных во главе с полковником Михайловым. Наш передовой отряд, приближаясь к Щиграм, снимал дозоры красных. Мы их не убивали, а просто переламывали их винтовки, а самих отпускали на все четыре стороны, так как никаких пленных мы взять не могли. И так вот мы ехали, проезжая деревню за деревней, и потом попали в какое-то предместье, окруженное домами. Мы перешли в полевой галоп, вынули шашки и помчались дальше. Улица, по которой мы скакали, оказалась тупиком. И вдруг влево от этого тупика я увидел много повозок и красноармейцев. Мог ли я тогда понять, как правильно повести себя в такой ситуации? Что я вообще знал о командовании? Принятие руководства конным отрядом было взвешенным и ответственным шагом или же романтическим бредом, который стал реальностью лишь волею случая? Знал ли я, например, что такое вольтижировка?

Это переход с одной манеры езды к другой – из шага в галоп и т.д. - 223

Это способ придать коню большей резвости путем удара по крупу хлыстом, ножнами или ладонью – 239

Это гимнастические упражнения на лошади – 250

§215.

Строка: "Воспоминаний о минувшем дне!" – 3

В условленное время мы отправились за дружочком. Мой товарищ остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком. Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду. Вид у меня был устрашающий: военный френч, холщовые штаны, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе. Таково было то достославное время - граждан снабжали чем бог послал, но зато бесплатно.

- Где дружочек? - грубым голосом спросил я.

- Видите ли...- начал Мак, теребя шнурок пенсне.

- Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка. Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь живее!

- Дружочек! - блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.

- Я здесь,- сказала дружочек, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты. - Здравствуй.

- Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Твой возлюбленный ждет тебя внизу.

- Позвольте…, - пробормотал Мак.

- Не позволю,- сказал я.

- Ты меня извини, дорогой, - сказала дружочек, обращаясь к Маку. - Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю своего слоника и должна к нему вернуться.

- Идем, - скомандовал я.

- Подожди, я сейчас возьму вещи.

- Какие вещи? - удивился я.- Ты ушла от моего друга в одном платьице.

- А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,- прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками. - Прощай, Мак, не сердись на меня, - милым голосом сказала она Маку. У Мака на испуганном лице показались слезы.

- И смотрите у меня,- сказал я на прощанье, погрозив Маку трубкой,- чтобы этого больше не повторялось!

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Гри.

Таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке. Иду на 219.

§216.

Строка: "Я
буквоплет!
И говорю
без позы - " - 1

За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.

Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. Начав уже изнемогать о своей вечной тоски, я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.

Врачи взялись за меня энергично. От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой - вовнутрь и снаружи. Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом - сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и в лоб - путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.

Два раза в год я стал выезжать на курорты - в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места. В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.

С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.

Ничего подобного я не увидел. Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег и баб, он ничем другим не интересовался. Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями. Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено или барометр упал - предвещает бурю. Как-то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю - просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.

Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал. С величайшим смирением я отдался в руки врачей. Иду на 201.

§217.

Он возник внезапно, в переулке позади нас, когда мы, смеясь и обнимаясь, жарко целовали друг друга. "Замиранье, обниманье, рук змеистых завиванье и искусный трепет ног..." владели нами.

Должно быть, он долго стоял там - в тени балконов - невидимый призрак, снедаемый распалявшейся в его душе ненавистью. А затем он возник из-за спины - будто ангел смерти, явившийся из преисподней и распростерший свои крыла. Холодный лоскут стали вошел мне под лопатку и я упал на мостовую, обливаясь кровью. Только чудом каленый андалузский клинок не добрался до моего сердца. "Я пал, и молнии победней сверкнул и в тело впился нож. Тебе восторг - мой стон последний, моя прерывистая дрожь..."

Полагая меня убитым и наскоро уладив свой скандал, апашка и ее друг оставили мое тело с пустыми карманами стынуть на мостовой и тут же скрылись вдвоем, юные дикари улиц: она, тут же позабывшая о нашей искрометной страсти и он, смуглый точеный мулат с горящим взором. Пишу себе ВЕХУ "Неудачник". А если такая ВЕХА у меня уже есть, то пишу себе так же КЛЮЧ «Поцелуй смерти(174)».

Жандармы обнаружили меня еще дышащим в сточных канавах Монмартра. Бедняга Пьер выходил меня. Я остался в неоплатном долгу перед ним. Мое лечение обошлось ему в целое состояние.

Накануне войны по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия и я, что бы не усугублять и без того сложное материальное положение Пьера, предпочел вернуться на Родину.

Если у меня есть ВЕХИ "Собственное издание" и "Слава", значит, я возвращаюсь в Россию как герой, окруженный лавровым венком почета - иду на 73, иначе иду на 108.

§218.

Строка: «И светлый челн скользит на буруне» - 5

Это был смешной случай. Смешной, и оттого очень светлый, несмотря на то, что это скорее смех сквозь слезы.

Стоял тусклый вечер. Мы с Сонечкой совершали променад по Невскому. Я познакомился с ней в Одессе. Она красива, остроумна, весела. Мы ступали, нежно взявшись за руки. Вышли на Неву и отправились гулять по темной набережной. Сонечка без конца что-то говорила. Но я не очень вникал в ее речь. Я слушал ее слова, как музыку. Но вот я распознал какое-то недовольство в этой музыке. Я прислушался.

- Вторую неделю мы ходим с вами по улицам, - говорила она. - Мы обошли все эти дурацкие набережные, сады. Мне просто хотелось бы посидеть с вами в какой-нибудь гостиной, поболтать, выпить чаю.

- Зайдемте в кафе,- предложил я.

- Нет, там нас могут увидеть.

Ах, да. Я совсем забыл. У нее сложная жизнь. Ревнивый муж, очень ревнивый любовник. Много врагов, которые сообщат, что нас видели вместе. Мы остановились на набережной. Обняли друг друга. Долго целовались. Она бормотала:

- Ах, как глупо, что это улица.

Мы снова шли и снова целовались. Она закрывала свои глаза рукой. У нее кружилась голова от этих бесконечных поцелуев. Мы дошли до ворот какого-то дома. Сонечка пробормотала:

- Я должна зайти сюда, к портнихе. Вы подождите меня здесь. Я только примерю платье и сейчас же вернусь.

Я ходил около дома. Ходил десять минут, пятнадцать, наконец, она появилась. Веселая. Смеющаяся.

- Все хорошо,- сказала она.- Получается очень милое платье. Оно очень скромное, без претензий.

Она взяла меня под руку, и я проводил ее до дома.

Я встретился с ней через пять дней. Она обронила ненароком:

- Если хотите, сегодня мы можем оказаться с вами в одной квартире - у моей знакомой.

Мы подошли к какому-то дому. Я узнал его. Здесь, у ворот, я ждал ее двадцать минут. Это был дом, где жила ее портниха. Мы поднялись на четвертый этаж. Она открыла квартиру своим ключом. Мы вошли в комнату. Это была хорошо обставленная комната. Не возникало мысли, что это комната портнихи. По профессиональной привычке я перелистал книжку, которую нашел на ночном столике. На заглавном листке я увидел знакомую мне фамилию. Это была фамилия возлюбленного Сонечки. Она рассмеялась.

- Да, мы в его комнате,- промолвила она, - Но вы не беспокойтесь. Он на два дня уехал в Кронштадт.

- Сонечка,- сказал я,- я беспокоюсь о другом. Значит, тогда вы были у него?

- Когда? – невинно спросила она.

- Тогда, когда я ждал вас у ворот двадцать минут.

Она снова рассмеялась. Закрыла мой рот поцелуем. Сказала:

- Вы были сами виноваты.

Преисполненный смятения, иду на 104.

§219.

Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал - противоестественном, мире нэпа, населенном призраками. Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось "гримасами нэпа". В продаже появились рис, урюк, кишмиш, крупчатка, пшенка, сало, соль, сахар, английский шевиот, пудра "Коти", шелковые чулки, бюстгальтеры, картины старых мастеров, миниатюры, камеи, елизаветинские табакерки, бронза, фарфор, спирт, морфий и кокаин. Все эти сокровища приобретались на влившиеся в оборот, как по волшебству, крепкие советские рубли, золото, керенки, николаевские бриллианты, доллары, фунты, кроны, купчие на дома, закладные на имения, акции и ренты. По всем улицам были расставлены плевательницы. Москвичи с перепуга называли их "урнами", различая в силуэтах этих сосудов мрачные подобия емкостям из колумбария.



Если у меня есть ВЕХА “Собственное издание” и отсутствует ВЕХА “Неудачник”, иду на 181.

Если у меня нет ВЕХИ “Собственное издание”, или есть, но так же имеется и ВЕХА “Неудачник”, иду на 204.

§220.

Строка: «Кудахтать брось про белые березы» – 1

Громыхающий глас моего стиха раскатился по всему проезду. Мария испуганно оглянулась - не видит ли кто нас. А мне было все равно - перед лицом такой женщины было ничего не страшно. Вот я и не испугался - ни дробного стука копыт, ни окрика возницы - все бытие для меня в тот миг сжалось до размеров кромки ее губ. В самый последний момент Мария схватила меня за плечи и прижала к себе. В ту же секунду через место, где я только что стоял, на всем скаку пронесся громыхающий фаэтон, запряженный резвой двойкой. На моем лице не дрогнул ни мускул. Я только сказал: "Не отпускайте меня никогда, Мария" - и у моей наяды в этот раз не осталось слов протеста.

Наяды? Да! Мария показала мне море, а я читал ей свои стихи о любви. Иду на 222.

§221.

Строка: "Как хороши, как свежи ныне розы" - 3

На морщинистых, пронзительных глазах начальника штаба вдруг навернулись слезы.

- Мальчишка, мальчишка ведь еще... – прошептал он. – А как сказать умеешь. Молодец, берем тебя к себе. Сегодня же напечатаем в «Голосе жизни».

Так я был зачислен в политический отдел деникинского штаба, где прослужил до самого конца Добровольческой армии, занимаясь сочинительством плакатных сюжетов и текстов, проникновенных статей и агиток. Пишу ВЕХУ "Белогвардеец" и иду на 283.

§222.

- Как искренна и обворожительна ваша любовь, поэт, - восхитилась Мария.

До самого заката мы блуждали по песчаному пляжу, и не было на свете людей, более близких, чем мы двое. Казалось, что весь земной шар с этим морем и этими чайками, с облаками и сиянием уходящего солнца был создан лишь для нас двоих.

На следующий день я уехал в Киев, навсегда сохранив в памяти светлый образ Марии и подаренное ею море в своем сердце. Пишу ВЕХУ "Мария" и иду на 108.

§223.

Теперь иду на 239.

§224.

Строка: "Как хороши, как свежи ныне розы" - 3

Сделав вид, что проверяю упряжь у своего коня, я неожиданно вскочил в седло и поскакал прочь, не оборачиваясь.

- Измена! - пробормотал Трунов и удивился. - Измена! - сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил в меня и промахнулся второпях.

Я все скакал, никем не преследуемый, в бескрайнюю ширь полей. А за спиной у меня разворачивался неравный бой между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов по очереди расчет нашей тачанки. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили

американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. Пишу ВЕХУ «Контрреволюционер».

После случившегося я дезертировал с фронта и тайком вернулся обратно в Москву, к ее привычной жизни, постепенно входящей в новую колею. Иду на 190.

§225.

Строка: «Воспоминаний о минувшем дне» - 3

- Вы знаете, что он написал недавно? - страшным шепот спросил я Мака, неожиданно перегнувшись через столешницу и заглянув прямо в лицо моему собеседнику. - Вы только послушайте!

Слова закапали из моего рта, будто гранатовые бусины с только что отсеченного ломтя свежего мяса: "Ну, застрелюсь. И это очень просто: нажать курок и выстрел прогремит. И пуля виноградиной-наростом застрянет там, где позвонок торчит... А дальше что?.. И вновь, теперь уже как падаль,- вновь распотрошенного и с липкой течкойируснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня... Обиду стерла кровь, и ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло (я!) к виску?.. О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь: "ку-ку". А пальцы, корчась, тянутся к виску"...

Это были страшные стихи. Мне казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над моей обритой головой, когда я произносил эти строки.

По правде сказать, строки эти принадлежали не моему другу, и даже не мне - это были стихи совсем другого поэта, совсем неизвестного. Жизнь свела нас однажды - и я мог поручиться, что Мак не был знаком с творчеством этого сумрачного гения. Я никогда и никому прежде не читал его стихотворений, способных довести до сумасшествия. Это был человек с отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом. Это были стихи Владимира Нарбута.

- Дружочек! - блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел. Казалось, его сейчас стошнит.

- Я здесь,- сказала дружочек, появляясь в дверях. - Здравствуй.

- Я пришел за тобой. Твой возлюбленный ждет тебя внизу.

- Ты меня извини, дорогой, - сказала дружочек, обращаясь к Маку. - Я все слышала. Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю своего слоника и должна к нему вернуться.

- Идем, - скомандовал я.

- Подожди, я сейчас возьму вещи.

- Какие вещи? - удивился я.- Ты ушла от моего друга в одном платьице.

- А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,- прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками. - Прощай, Мак, не сердись на меня, - милым голосом сказала она Маку. У Мака на лице показались слезы.

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Гри.

Таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке. Иду на 219.

§226.

Родственники жены помогли нам деньгами и с их помощью мы сумели эмигрировать во Францию. Я кончил свое стихотворение, написанное в отчаянии парижского кабаре так:

«Хоронят нашу Родину в сугроб».

(Ваш пасьянс сошелся).

- Браво, маэстро! - кричала публика, восхищенная образом поэта-самопожертвенника.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одиноко

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Тщетно пытался я разбудить в этих людях хоть какие-то чувства, какие-то помыслы. Он уже смирились со своей судьбой, они оставили мысли о борьбе, и мне тоже приходила пора заканчивать свое донкихотское сражение с мельницами.

Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненным — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Родина не приняла меня, моему народу оказались не нужны мои стихи и мысли, молодая советская власть считала их настолько пропитанными буржуазными пороками, что начисто отвергала их, как лишенные какой-либо ценности.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемым быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Но и на чужбине у меня не нашлось единомышленников. Очень быстро русская эмиграция растеряла боевой пыл гражданской войны. Из людей, способных встать на защиту России, разостланной на алтаре коммунистической идеи, приносимой в жертву пагубным идеалам Ленина и Троцкого, эмигранты стали теми, кем они были до потрясений – мелкопоместными собственниками, разночинцами, служками. Для них стремительно стерлась разница «жизни здесь» и «жизни там».

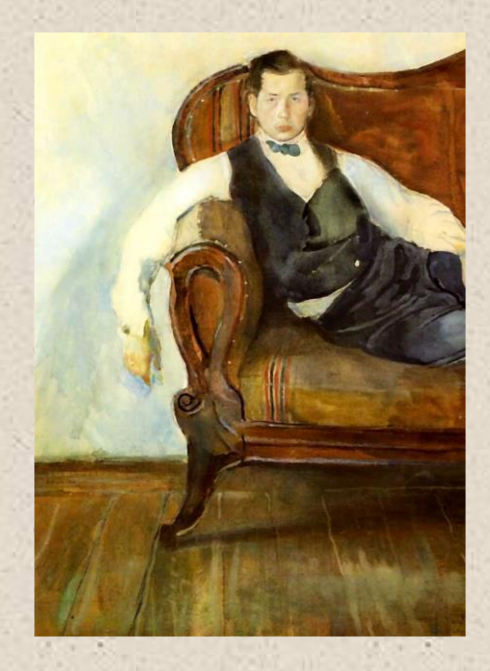
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Всё, что осталось мне - последовать примеру своих сородичей, жить радужными воспоминаниями прошлого и серой утлостью настоящего. Пестовать в сердце былое, скорбеть по нему, звонить погребальную тризну строк...

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...



Ubi bene ibi patria.

§227.

Неожиданно Мария стала очень серьезной. Она отстранилась прочь от моих объятий и внимательно взглянула мне в лицо.

- Вероятно, вам никто никогда не отказывал? - в обворожительном голосе прозвучали стальные нотки. Вновь между нами как будто пролегла пропасть. - Мне пора идти.

Она отвернулась и замерла, ожидая моих прощальных слов. Как же эта чудесная женщина была похожа на гордую и грациозную лань - в каждом ее движении проступало столько трепета, столько противоречивых эмоций - если Мария и никогда не играла на сцене, то ей определенно следовало бы попробовать себя на актерском поприще. Это была женщина-эмоция, девочка-нерв. Ворох восторженных ласковых слов липким комом встал у меня в горле. Мария покорила мое сердце решительно и безудержно, ее сильная открытая натура одним махом сбила весь мой налет деланного щегольства.

- Мы еще встретимся? - только и сумел вымолвить я. В ответ Мария лишь коснулась своими бархатными губками моей щеки, и ее хрупкая фигурка медленно растворилась в закатном сиянии горизонта, что бы более не появиться в моей жизни уже никогда. Все было ясно без лишних слов - она выходила замуж, а я был чужим в ее солнечном краю, пропахшем морем. Исполненный разочарования, иду на 108.

§228.

«Неважно сколько проходило времени, я раз за разом неизменно находил знакомую и милую дверь, и тотчас чувствовал радостный трепет в груди.

Я подходил и тихонько, чтобы особенно не обеспокоить, коротко звонил. К двери приближались шаги, приближались к ней вплотную, потом становилось слышно, как руки возятся с замком и, наконец, дверь отмыкалась.

- Ах, это вы, - говорил продавец с ленивым отвращением, - а я-то уж думал и впрямь человек пришел. Ну, что ж заходите.

И я входил».

На этом кончаются, точнее - обрываются записки некоего поэта, которого в бредовом состоянии доставили к нам в госпиталь. Будучи приведен в себя и освидетельствован, поэт признался, что он кокаинист, что уже много раз пытался с собою бороться, но

всегда безуспешно. Путем упорной борьбы ему, правда, удавалось воздерживаться от кокаина в продолжении месяца, двух, иногда даже трех, после чего неизменно наступал рецидив.

При освидетельствовании поэта налицо были все симптомы хронического отравления кокаином: расстройство желудочнокишечного канала, слабость, хроническая бессонница, апатия, истощение, особая желтая окраска кожи и ряд нервных и психических расстройств, наличие которых несомненно имелось, но точное установление которых требовало более длительного наблюдения.

Было очевидно, что оставлять такого больного у нас, в военном госпитале, совершенно бессмысленно. Это соображение наш Главврач, человек чрезвычайной нежности, ему тут же и высказал, причем, явно страдая от невозможности помочь, еще добавил, что ему, поэту, необходим не госпиталь, а хорошая психиатрическая санатория, попасть в которую, однако, в нынешнее социалистическое время не так-то легко. Ибо теперь, при приеме больных, руководствуются не столько болезнью больного, сколько той пользой, которую этот больной принес, или, на худой конец, принесет революции.

Поэт слушал мрачно. Его набухшее веко зловеще прикрывало глаз. На заботливый вопрос Главврача - нет ли у него родственников или близких, которые могли бы ему оказать поддержку, - он отвечал, что нет. Помолчав, он добавил, что жены у него никогда не было, приятели, включая самого давнего, Коняшевича, от него давно отвернулись, а нахождение его друга, единственного и самого преданного, ему неизвестно.

Когда он произнес последнее имя – имя своего единственного товарища - все переглянулись.

Такой-то?, - переспросил Главврач, - да ведь это же наше непосредственное начальство. Да ведь одного его слова достаточно, чтобы вас спасти!

Поэт долго расспрашивал, видимо боясь, не недоразумение ли все это, не однофамилец ли. Он был очень взволнован и, кажется, радостен, когда убедился, что наш куратор тот самый его единственный близкий друг.

На следующее утро, часу в двенадцатом, три курьера внесли поэта на руках. Спасать его было уже поздно. Нам оставалось только констатировать острое отравление кокаином (несомненно умышленное, - кокаин был, видимо, разведен в стакане воды и выпит) и смерть от остановки дыхания.

На груди, во внутреннем кармане поэта, были найдены: 1) старый коленкоровый мешочек, с зашитыми в нем десятью серебряными пятачками, и 2) приложенная здесь рукопись, на первой странице

которой, крупными и безобразно скачущими буквами был нацарапан стих, оканчивающийся строкой:

«Хоронят нашу Родину в сугроб.»

(пасьянс не сошелся для всех, кроме символиста)

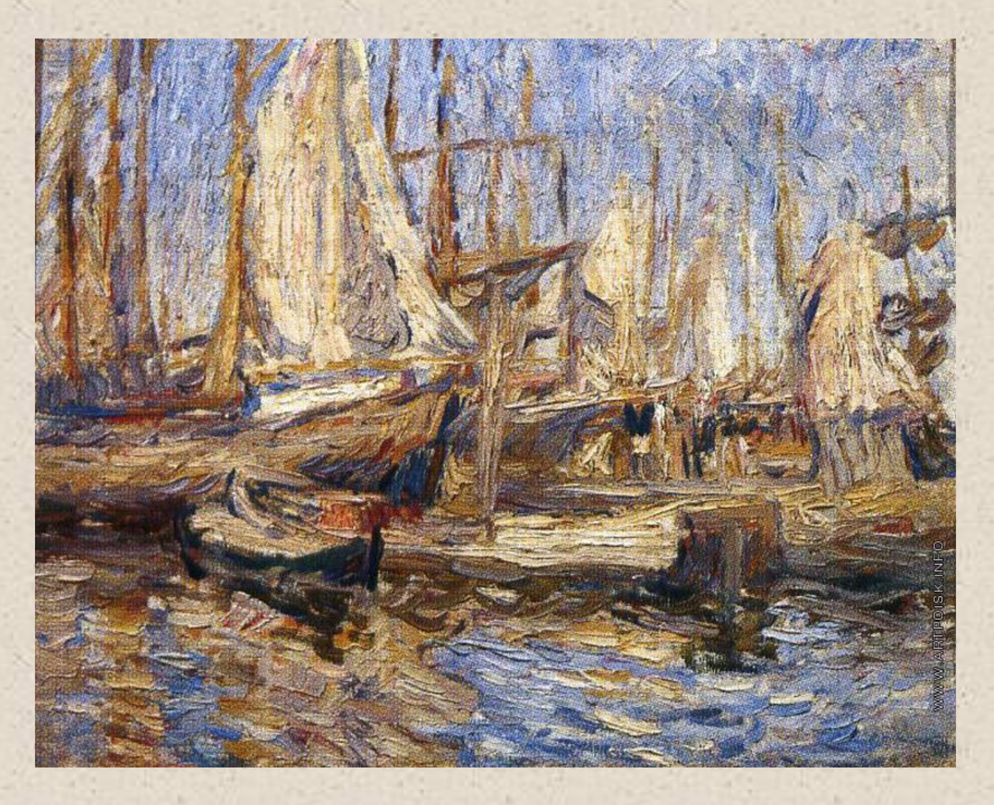
и два слова: "Друг отказал".

§229.

Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно декоративная, красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее.

Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать.

Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар.



По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин как в "Тысяче и одной ночи", мы прошли в Айя-Софию. На окружающем ее тенистом дворе играли полуголые дети, несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание.

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харрар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях. Но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал. Направление маршрута: 244.

§230.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 143. Иначе иду на 132.

§231.

- Простите, - отвечал я. - Я ничего не могу поделать, - и сокрушенные друзья вынуждены были оставить меня.

Восемь… Девять… Десять часов… - отсчитывали ходики в углу, мерно раскачивая латунные цилиндры противовесов за мутным стеклом, а в номере царили все те же тишина и одиночество, что захватили здесь власть сразу после укоризненного хлопка двери, ознаменовавшего выход поэтического квартета. Я разгуливал от окна к дивану, от комода к шкапу, падал на диван и валялся то на спине, то на боку, то безвольно перебирал пальцами папиросы в своем деревянном портсигаре, не имея сил даже закурить.

Тихонько скрипнула дверь и вошла Мария, озаренная закатными лучами солнца. Мои глаза встретились с ее глазами, невероятно встревоженными и влажными.

- Я надеялась, что когда приду, вас уже не будет. Кажется, вы должны были уехать, - честно и серьезно сказала она.

- А я не уехал, - подойдя, я обнял ее, в порыве нежности припал на колено и коснулся губами ее живота. Мария растерянно перебирала мои волосы тонкими музыкальными пальцами и вся ее серьезность разом куда-то испарилась.

- А вы не уехали… - эхом повторила она. – Что же нам теперь делать?

Я покрывал поцелуями ее нежные ладони, мои губы страстно скользили по ее запястьям, плечам, шее и, наконец, встретились с ее губами в долгом и горячем прикосновении…

Мария попыталась отстранить меня:

- Нет, это нельзя…

- Я не прикоснусь к вам, пока вы мне не разрешите, я буду беречь вас, беречь всю жизнь, - обещал я.

- Это невозможно, - сокрушалась Мария, - я замуж выхожу, это решено. Простите, это моя судьба, моя жизнь, я не в праве ее разрушать. Деньги, любовь и страсть – вещи несовместимые… Простите меня, ради Бога, простите… Будьте счастливы!

Она ушла, оставив меня наедине с моими мыслями. Выходите замуж? Что ж, выходите. Ничего. Покреплюсь. Видите - спокоен как! Как пульс покойника. Вы говорили: "Деньги, любовь, страсть"? А я одно видел: вы - Джоконда, которую надо украсть! И украду…

Пишу себе веху «Мария» и иду на 108.

§232.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 132.
Иначе иду на 48.

§233.

Теперь иду на 15.

§234.

Строка: "Я
буквоплет!
И говорю
без позы – " – 1

Мне удалось преодолеть в себе пагубную страсть. Истерзанный, вымотанный, я выполз из ямы кокаиновой зависимости. Конечно, теперь я мог как полноправный очевидец, писать заметки с того света и вспоминать видения мира этого сквозь облака обители горней, где толпятся неприкаянные души, но этот новообретенный дар не делал меня счастливым, напротив, каждый раз слыша из граммофонной трубы куплеты Вертинского:

Что Вы плачете здесь, одинокая глупая деточка
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?
Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка.
Облысевшая, мокрая вся и смешная, как Вы...

я неистово вздрагивал, украдкой крестился и выходил прочь, потому что морозная сиплость в глотке не давала мне покоя и теребила пальцами по нервам струн.
Иду на 201.

§235.

Все больше литературные кружки, которые я посещал, напоминали политические собрания. С каждым днем жизнь дорожала, прислуга наглела, ни с того, ни с сего грубила, служить не хотела, но за свое безделничание требовала несообразно высокие оклады жалования и почти открыто тащила из домов все ценное, что попадалось под руку. Даже мальчишки-булочники на улице норовили испачкать ваше чистое платье, шаркнув по вам своей мучной одежей, и от этого не говорить про политику делалось невозможным.

Все были удивлены и возмущены разнузданным поведением слуг, все широко, растерянно и вопросительно таращили друг на друга глаза, точно в первый раз открывали какую-то новую часть света и обитавшие в ней невиданные племена, между тем, как среди этих людей они родились, выросли и прожили всю жизнь. Говорили:

- Не в разбушевавшихся звериных инстинктах главное зло революционного переворота, а в той лжи и в том обмане, в том потоке фальшивых лозунгов и фраз, которыми наводнили сознание народа примкнувшие к революции нигилисты и анархисты.

Появилась идея ответить на революционные выступления стихийными «патриотическими демонстрациями». Рассуждали:

— Какое они имеют право! Ты красной тряпке поклоняешься — ну и чёрт с тобой! А я трёхцветной поклоняюсь. И отцы и деды поклонялись. Хотим тоже, как они, демонстрацию, Манифестацию... Только они с красными, а мы с трёхцветными. Возьмём портрет государя императора и пойдём по всему городу Они с красными флагами, а мы с хоругвями. Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим...

На «патриотические шествия» повсюду решено было собираться у стен храмов. Начинались они церковными службами. На такие демонстрации по всей стране вышли сотни тысяч людей. Они несли российские флаги, иконы, портреты царя. Праздновали отчасти манифест 17 октября, отчасти годовщину вступления на престол Николая II (21 октября). Кое-кто выкрикивал, что надо бить смутьянов — студентов и евреев.

Начавшись с простого шествия, события развивались по нарастающей. Некоторые участники демонстрации останавливали прохожих и требовали от них снимать шапки перед портретом государя. С тех, кто не хотел обнажить голову, шапки сбивали. Конечно, это вызывало ответное возмущение, и в демонстрантов часто летели камни. Один большевик в ответ на требование снять шапку обозвал Николая II сволочью, выстрелил в портрет и застрелил двух демонстрантов. Самого его за это сильно избили, арестовали и приговорили к каторге.

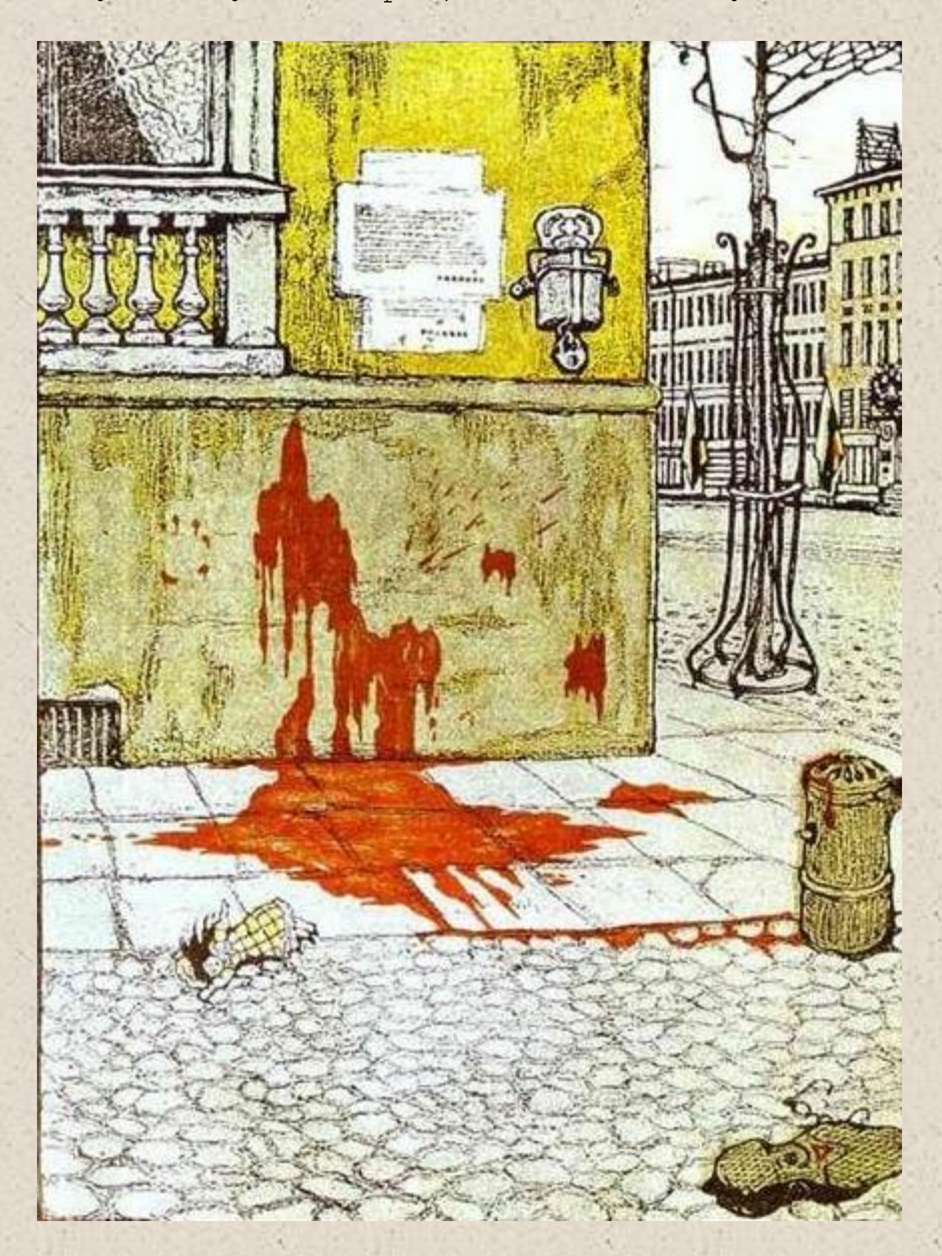
Порой вспыхивали уличные схватки между революционерами и нашими. Такие происшествия перерастали в погромы, направленные против «интеллигентов и инородцев», главным образом евреев. Демонстранты разбивали камнями витрины магазинов и окна домов, принадлежащих евреям. Это сопровождалось и грабежом: толпа врывалась в дома, выбрасывала на улицу имущество. Любая попытка самозащиты вызывала возмущение погромщиков и влекла за собой многочисленные жертвы.

Шествие приблизилось к магазину, и один из демонстрантов громко спросил у царского портрета: «Разрешаете громить, Ваше величество?». «Разрешаю», — отвечал человек, нёсший портрет.

Помню улицу, по которой прошёлся погром. Кто-то спрашивал:

— Что это? Почему она вся белая?..

— Пух... Пух из перин, - отвечали ему.



Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские халупы. Все окна выбиты, местами выбиты и рамы. Точно ослепшие, стояли все эти лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи — вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная: стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпьё. Полувдавленные в грязь, разбитые тарелки — всё, что было в этих хибарках, валялось искромсанное, затоптанное ногами. Таковы были бесплотные усугубляющие попытки противостоять своими силами машине красной революции. Если у меня нет КЛЮЧА «Сын

Отечества(165)», пишу его себе. Если есть, пишу ВЕХУ «Монархист» и иду на 176.

§236.

Если у меня есть ВЕХА «Жена», иду на 226, иначе иду на 132.

§237.

«Машины залетали над позицией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

Майор Фаунт-Ле-Ро и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала меня, потом Трунова и весь остальной рассчет. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу...»

На этом моменте я закрываю тетрадь и откидываюсь на спинку стула. Вдохновение не шло ко мне. Мой роман о поэте Серебряного века никак не желал сдвинуться с мертвой точки своей безысходности. Что ж, завтра будет новый день и, вместе с ним, быть может, новое начало... Или мне, все же, слишком дорог мой печальный герой, что бы вот так, невпопад, оканчивать его судьбу? Если я сумею пересилить себя и продолжить книгу, продумать бессонной ночью переплетения и хитрости судьбы, которые могли спасти его, то могу записать ВЕХИ «Неудачник» и «Красноармеец», а затем продолжаю повествование на 190. А если такая ВЕХА «Неудачник» у меня уже есть, то пишу себе так же КЛЮЧ «Поцелуй смерти(174)».

§238.

И вот, настало время подвести итог моим воспоминаниям. Что у меня записано в графе «стиль»?

Если символист, иду на 243.
Если акмеист, иду на 143.
Если футурист, иду на 241.

§239.

Строка: "Но не прельщают сладкие прогнозы" – 5

Никак я не мог подумать, что это уже Щигры. Ни о чем не думая, мы крикнули "ура" и помчались на обоз. Когда мы поскакали к обозу, который охранял, по крайней мере, батальон красных, противник открыл по нам огонь из-за повозок и наш неумелый кавалерийский наскок был смят залпами вражеских ружей.



Забыть ли, как на снегу сбитом
В последний раз рубил казак,
Как под размашистым копытом
Звенел промёрзлый солончак,
И как минутная победа
Швырнула нас через окоп,
И храп коней, и крик соседа,
И кровью залитый сугроб.

Бой был заведомо неравным и много моих товарищей, моих верных сослуживцев полегло под пулями и в сечевом бою, когда мы

столкнулись грудями, строй на строй. Их смерти незапекающимися ранами залегли в моей груди.

В эту ночь мы ушли от погони,
Расседлали своих лошадей;
Я лежал на шершавой попоне
Среди спящих усталых людей.

И запомнил и помню доныне
Наш последний российский ночлег,
Эти звезды приморской пустыни,
Этот синий мерцающий снег...

Пишу ВЕХУ "Белогвардеец" и иду на 283.

§240.

Теперь иду на 88.

§241.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 298.
Иначе иду на 48.

§242.

Дым столбом — кипит, дымится пароход. Пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье. Православный веселится наш народ. И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле.

Нет, тайная дума быстрее летит, и сердце, мгновенья считая, стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: "о Боже, как долго!"

Не воздух, не зелень страдальца манят, там ясные очи так ярко горят, так полны блаженства минуты свиданья, так сладки надеждой часы расставанья…

На следующий день мы были уже в Киеве и горькая тоска о Марии поутихла в моем сердце. Благополучно окончив гастроли, мы всей дружной компанией вернулись в Петербург, где в воздухе уже витали тревожные ожидания предстоящей мировой войны. Иду на 108.

§243.

Теперь я складываю все оценки, выставленные строкам в моем стихотворении.

Если получилось 33 или больше, иду на 275.
Иначе иду на 298.

§244.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили веселые ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Эти три дня прошли быстро. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба - они бегали удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забивались в норы - утром работа. По утрам к нам в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и Гумилев записывал их песни. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали нам, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей Восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключенья. Проводникам из этого племени довериться нельзя.

На четвертый день, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Мы путешествовали во втором классе, где обыкновенно ездили все европейцы, третий класс предназначался исключительно для туземцев, а в первом, который был вдвое дороже и нисколько не лучше второго, обыкновенно ездили только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, он стоил 62 франка с человека, что было несколько дорого за десять часов пути, но таковыми являлись все колониальные железные дороги. Паровозы носили громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и так далее. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.



Вид из окна представлялся унылый, но не лишенный величественности. Открывалась коричневая и грубая пустыня, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, повсюду виднелись мутные потоки и целые озера грязной воды. Из кустов выбегали диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов (они всегда ходят парами) и смотрели на нас с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стояли, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, а что было справа и слева от нее – оставалось тайной. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь, и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании. Ночью всяк разместился, как мог. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути.

Вернуться пожелали все пассажиры. Мнения же в нашем маленьком сообществе разделились. Турецкий консул настаивал на том, что вернуться в город — это было самое безопасное и взвешенное решение. Гумилев же, понимая временнЫе и финансовые ограничения

нашей экспедиции, видел в таком решении возможный крах всего нашего предприятия и горел желанием во что бы то ни стало двигаться дальше. Решающий голос оставался за мной. Что выбрал я — задержаться здесь, в глуши, что бы в любой благоприятный момент продолжить путь — 251 или отправиться в месте со всеми пассажирами обратно в гостеприимный Джибути и спокойно переждать трудности— 263?

§245.

Мы собрались у Зандера, в хорошо натопленной комнате под чердаком, заставленной старой мебелью. На столике уже стояла небольшая жестяная коробка, похожая на те, в которых у Абрикосова продавали соломку, только меньше и короче. На ее блестящей, словно нечищеной жести, кое-где виднелись приклеившиеся лохматки сорванной бумаги.

Продавец выдал нам оплаченные порции, и мы приступили к нюханью. От первой понюшки я не почувствовал в носу ничего, разве только, своеобразный, но не неприятный запах аптеки, тотчас-же улетучившийся, лишь только я вдохнул его в себя.

Я развалился в кресле. Мне было хорошо. Внутри меня наблюдающий луч внимательно светил в мои ощущения. Я ждал в них взрыва, ждал молний, как следствие принятого наркоза, но чем дальше, тем больше я убеждался, что никакого взрыва, никаких молний не было и не будет. Пришла и стала крепнуть мысль, что кокаин на меня не подействует. От сознания бессилия передо мною такого шибкого яда, радость моя, а вместе с ней сознание исключительности моей личности, все больше крепло и росло.

В глубине комнаты Зандер и продавец сидели за ломберным столом и бросали друг другу карты. Приятель Зандера, Мик, выбил чечетку по карманам в поисках спичек и зажег свечу в высоком подсвечнике. Любовно я смотрел, с какой бережностью он закругленной ладонью закрывал свечу и нес ее пламя на своем лице.

А мне становилось все лучше, все радостнее. Я уже чувствовал, как радость моя нежной змейкой вползала в мое горло, щекотала его. От радости я слегка задыхался, мне становилось невмоготу, я должен был отплеснуть от нее хоть немножко, и мне ужасно хотелось что-нибудь порассказать маленьким бедным людишкам, собравшимся в квартире со мной.

Мик сел за старое пианино в соседней комнате и взял аккорд. Я дернулся. Только тогда я поймал себя на том, как было напряжено мое тело. В кресле я сидел не откинувшись, и желудочные мускулы мои были неприятно напряжены. Я опустился на спинку кресла, но это не помогло. Мышцы распускались. Помимо воли я сидел в удобном и мягком кресле в ужасно натянутой напряженности, будто вот-вот оно должно было подо мной подломиться и рухнуть.

Мое тело захолодало, застыло, словно отпало от головы: чтобы почувствовать ногу или руку, я должен был двинуть ими.

Время замерло вокруг меня стеклянной струей. Кругом сгрудились люди, много, очень много людей. Но это не было галлюцинацией: я видел этих людей не вне, а внутри себя. Присутствовали студенты, учащиеся женщины и прочие, но все выглядели как-то странно: он были косые, кривые, безносые, волосатые, бородатые.



- Ах, профессор, - восторженно кричала курсистка (профессором был я), - ах, профессор, пожалуйста, сегодня о поэзии.

Она была одноглаза и протягивала мне издали руки. Кривые, косые, бородатые, волосатые, все такие, которым нельзя и страшно раздеться, вопили:

- Да, профессор, да, о поэзии - да, про рифму - дайте определение, что такое поэзия.

Я небрежно улыбнулся и кривые, косые, бородатые, волосатые круто стихли.

- Поэзия, господа, это есть затрата умственной энергии в непременных условиях стихосложения и совершенного сочинительства.

Безрукие, кривые, косые дико орали - "дальше" - "еще-еще" - "дальше". Ученая женщина об одном глазу локтями била по мордам, приговаривая:

- Простите, коллега, - и продиралась к моей кафедре. Я поднял руку. Тишина.

Я долго и рассудительно вещал что-то. Мне хотелось сдержать ночь, мне было так хорошо и так ясно во мне, я так непомерно был влюблен в жизнь, мне хотелось все замедлить, долго откусывать обожание каждой секунды, но ничто уже не останавливалось, и вся ночь неудержимо и быстро утекала прочь.

Сквозь щели портьер я увидел рассвет. Под глазами и в скулах стояли пустота и тяжесть. Все как-то грузно останавливалось вокруг меня и во мне. В носу все было жадно раскрыто, тоскующе пусто до самого горла, и дыхание больно царапало - не то воздух стал слишком жесток, не то внутренность носа стала слишком нежна. Я пытался отогнать эту все тяжче наваливающуюся на меня тоску, я пытался вернуть мои мысли, мои восторги и восторги бородатых слушателей, но в памяти моей возникала вся эта ночь, и мне делалось так стыдно, так срамно, что впервые правдиво и искренно я чувствовал, что не хочу больше жить.

Конечно, потом я стал писать. Писать неистово. Действие кокаина было невероятно похоже на страшную сказку, показанную мне расом Тафари, оно так же будило мысли и образы, дарило невероятные открытия. Но если путешествие, в которое отправил меня дедьязмач, разбудило во мне страсть к созиданию, то кокаин не будил ничего, кроме потребности припасть к очередной понюшке и вновь окунуться в туманный мир беспричинного счастья.

Мог ли я бороться с этой одержимостью?

Если у меня есть КЛЮЧ «Незнакомка», то я могу воспользоваться им и вырваться из сетей кокаина на простор творчества, открытый для меня чувствами и впечатлениями прежней, дококаиновой жизни. В этом случае упорная работа и воплощение давних идей могут оказаться сильнее пагубной тяги к наркозу.

Если у меня есть КЛЮЧ «Дебошир», значит, я мог вступить в открытую конфронтацию с этим врагом и единственной силой воли постараться противостоять кокаиновой зависимости.

Если же у меня нет ни одного из этих КЛЮЧЕЙ, значит, мне оставалось только плыть по течению своей болезни, отдавая себя на волю потоку и уповая на то, что он не утащит меня окончательно в бездонный омут пагубной зависимости - 285.

§246. +++

§247.

Строка: «Лишь только
пуль
холодные
занозы» – 1

Благоволение партии было вещью двоякой. С одной стороны давали дорогу моим произведениям и печатали, с другой – почти каждую вещь приходилось проталкивать сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости.

Принуждали писать под потребности комитета культуры. Я не жеманился и не чванился, с вдохновением воспринимал дело партии и, если надо, готов был писать хоть одни агитки. Это не противоречило моей творческой позиции – я всегда был за либерлизацию поэзии.

«Все что требует тело желудок или ум, все человеку предоставляет ГУМ».

Нуждалось молодое советское государство в рекламе – нате пожалуйте. Все путное с прилавков расхватывают влет? Используем поэтическое слово как поршень для продвижения лежалого товара. «Комфорт! И не тратя больших сумм. Запомни следующую строчку: лучшие ковры продает ГУМ. Доступно любому в рассрочку». Избыток чаю? «Эскимос, медведь и стада оленьи пьют чаи Чаеуправления. До самого Полюса грейся и пользуйся».

Но в итоге отворачивались и бывшие соратники, и новые коллеги. Старые товарищи не понимали моего соглашательства, воспринимали его как прогиб, а в РАППе (Российской ассоциации пролетарских писателей) называли меня лишь «попутчиком » советской власти, а не «пролетарским писателем», каким я себя видел.

Зрители все чаще и настойчивее кричали, что не понимают моих стихов и все больше просили читать старое. Я отказывался со словами, что являюсь человеком молодой страны и старое мне не к лицу. Перед началом выступлений мне уже приходилось извиняться перед публикой.

- Последнее время обо мне говорят всякие глупости, часто ругают…

- Правильно ругают! – кричали из зала. – Строчки зачем разбивать? Глазам больно! Мы не понимаем ваши стихи!

- Товарищи, - попросил я, - поднимите руку, кто не понимает мою поэзию.

Руку на собрании советских рабочих поднял почти каждый. И сколько я не пытался работать с публикой, они лишь вопили, перебивали и злословили.
Вконец обессиленный, я сел на ступени сцены и закрыл голову руками. Если у меня есть ВЕХА «Кокаин», иду на 228, иначе иду на 163.

§248.

Париж… это не город, нет, не обыденное сборище домов и забегаловок, разбавленное парками, садами и достопримечательностями.

Париж - это гигантская сцена, декорация, в которой целые дни напролет дают свое головокружительное представление артисты балаганов, уличные торговцы, проститутки, пьяницы, влюбленные парочки, таперы, кабаретные танцовщицы и цветущие кусты сирени…

Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска…

Мой друг по гимназической скамье снимал квартирку прямо на Монмартре - в самом сердце артистической богемы Европы. Жилье стоило здесь очень дешево, и представители художественного бомонда предпочитали селиться здесь же, на арьерсцене своего города-театра. Первое, что бросалось в глаза, при выходе улицу - это зеркала. Обилие зеркал всюду поражало воображение - они были в окнах и нишах, потолках и полах, прилавках и столах, в стенах и дверях, будто какой-то безумный стекольщик разом покрыл весь город произведениями своего ремесла. Париж сделался городом зеркал и даже его гладкий асфальт приобрел зеркальность.



Я сижу и курю в зеркалах,
Я — в углу, я повсюду в углах.
Я, бесчисленный, пью и курю
И с собою самим говорю.

Прямо напротив окна комнаты, в которой я поселился - знаменитая вывеска не менее знаменитого "Кабаре Убийц". Да, именно так. Известность вывески была громче славы самого заведения и послужила причиной переименования его из грозного притона душегубов в озорного "Шустрого Кролика". Популярный в конце прошлого века политический карикатурист Андре Жиль, преданный завсегдатай салона, однажды оформил для фасада домика новую вывеску, изображавшую бравого кролика, с хитрым видом выскакивающего из кастрюли. Кабаре тут же перекрестили в «Кролика Жиля», что по-французски звучит как «ле лапэн а жиль». Очень скоро логика каламбура превратила название кабаре в «Ле лапэн ажиль» («Le Lapin agile»), то есть в «Шустрого кролика». Слава художника и удачность каламбура приумножили популярность заведения, его стали посещать и богатые буржуа и знаменитые политики. Хозяева, однако, демонстративно сохраняли убогий облик помещения, что до слез умиления напоминало мне интерьер подвала петербургской «Бродячей собаки».

Мой друг Петр или, как он предпочитал именоваться на здешний манер, Пьер работал в русском издательстве "Поволоцкий и Ко", публиковавшем здесь, в Париже то, что невозможно было издать на Родине, и заколачивающем на этом огромные состояния.

Русская эмиграция социал-демократического толка, хотела знать все последние вести из России, желательно, приправленные остро-политическим соусом и являлась неиссякаемым источником доходов для подобных артелей пера. Узнав, что я занимаюсь сочинительством, Пьер умолял меня писать - творчество диссидентов, особенно недавно покинувших страну, ценилось на вес золота, и он верил, что мы озолотимся, продавая мои стихи.

Когда Пьер уходил с утра на службу, я оставался наедине с окном, в которое подмигивал шустрый кролик с вывески; состолом, украшенным натюрмортом из бумаг, окурков и стаканов; с шумом дождя по крыше и со своей неизъяснимой тоской по несбыточному.

«В дождь Париж расцветает, точно серая роза... Шелестит, опьяняет влажной лаской наркоза...» И я решил:

С головой окунуться в богемную жизнь города. "Ле лапэн ажиль", "Русское кабаре" на улице Пигаль, феерия уличных представлений, очарование искристых парижских барышень - все это великолепие наконец-то позволит мне вкусить аромат настоящей свободной жизни - 196

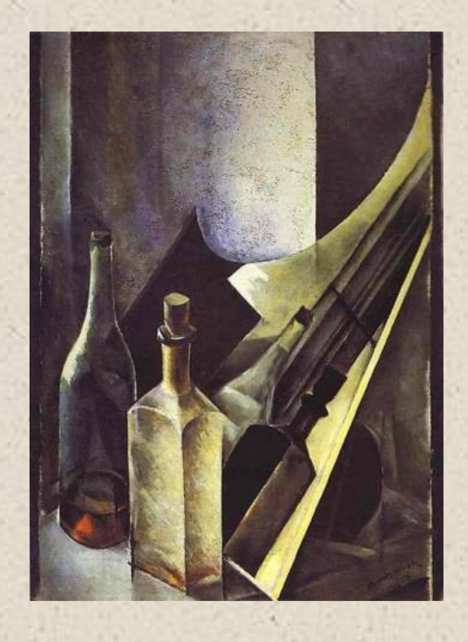
Писать! Писать и никаких гвоздей! Щемящая душу атмосфера Парижа как нельзя лучше располагала к созиданию - 115

Если у меня есть ВЕХА "Пролетарий", то я мог попросить Пьера свести меня с русскими социал-демократами и, быть может, даже увидеть Ленина, который, по слухам, тогда находился в Париже - 279

§249.

Строка: «Я
буквоплет!
И говорю
без позы –» - 1

Я плохо помню те годы, когда ночь за ночью, пьяный, с товарищами, такими же неудачниками от жизни, как я, вламывался в очередной кабак и кутил там до рассвета. Кругом стояли пьяные крики, шум, табачный дым. Непременно играла скрипка. На языке болтались строчки: «Вновь сдружусь с кабацкой скринкой, вновь я буду пить вино, все равно не хватит силы дотащиться до конца с трезвой жалкою улыбкой, за которой страх могилы, беспокойство мертвеца…» А потом, в конец уже беспамятный, я залазил на стол, и орал осатаневшей публике в их козьи рыла: «Трубит, трубит погибельный рог! Как же быть, как же быть теперь нам на измызганных ляжках дорог? Вы, любители песенных блох, не хотите ль пососать у мерина? Полно кротостью мордищ праздниться, любо ль, не любо ль, знай бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся и всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари».



А потом, конечно, были и драка, и скандал, и кровь. А через несколько дней мой друг, единственный и самый преданный, находил меня в этой корчме, затюканного и синего, совершенно обезволенного, драившего тряпкой полы в счет учиненного погрома. И друг выкупал меня у грозного трактирщика, требовавшего впредь не показывать к нему своей треклятой физиономии. Я брел домой, в свой пыльный угол, совершенно разбитым и, не находя успокоения ни в творчестве, ни в мелочных заботах, вновь медленно и уверенно погружался на дно бутылки. Бреду на 201.

§250.

Строка: "Как хороши, как свежи ныне розы" - 3

Ни о чем не думая, мы крикнули "ура" и помчались на обоз. Никак я не мог подумать, что это уже Щигры - иначе не решился бы на такую безумную атаку.

Мы атаковали обоз, закричали красным солдатам, чтобы они бросили оружие на землю, и врезались в самую гущу. В этом обозе оказалось семь пулеметов системы "Максим", которые я немедленно приказал погнать в направлении наших наступающих частей. Тут подъехали наши главные силы, то есть полковник Михайлов со своими всадниками.

Выехал дальше я по какой-то улице к мосту и там увидел лес штыков - это был целый батальон Красной Армии. Подъехав к мосту, но не переезжая его, я закричал красным: "Сдавайтесь! Переходите на нашу сторону!" Но никто не сдвинулся с места, и никакого выстрела не последовало. Один из моих разведчиков подъехал ко мне и сказал: "Господин капитан, нас обходят! Они отрезают нас, и мы не сможем вернуться назад". Убедившись в правильности этого донесения и предварительно удостоверившись, что обоз полным ходом идет в направлении наших наступающих частей, мы карьером двинулись обратно. И благополучно, потеряв, правда, одного разведчика убитым, мы после некоторого времени столкнулись с нашими передовыми частями.



Это событие, довольно красочное, потому что у меня была на голове белая повязка от недавно полученной раны, а на груди висел крест Святого Владимира, оставило большое впечатление у жителей Щигров, так как оказалось, что мы въехали в предместье города Щигры. Когда подошли наши главные части и мы после довольно короткого боя заняли Щигры, все жители этого города меня возвели в звание героя. И Пишу ВЕХУ "Белогвардеец" и иду на 283.

§251.

Строка: «Кудахтать брось про белые березы» - 1

Мы остались. Я апеллировал к тому, что жизнь на станции Айша стоила много дешевле, чем в городе. В итоге турецкий консул тоже присоединился к нам, но думаю, только из чувства товарищества.

Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отдалились километра на три от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. "Мындерну" (в чем дело?), - спросили мы, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После нам подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.



На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая "ейдехе, ейде-хе" - род русской "дубинушки", не политической, а рабочей, - взялись за ручки дрезин, и мы отправились.

Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной почти с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей.

Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти

на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рев гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа. Направление маршрута: 268

§252.

И я забыл обо всем на свете. Лизонька была чудесным, милым ребенком. Мы вместе весело смеялись и шутили над французскими причудами, и часто потом гуляли вместе по паркам Монпарнаса. «Дома до звезд, а небо ниже. Земля в чаду ему близка. В большом и радостном Париже все та же тайная тоска. Шумны вечерние бульвары, последний луч зари погас. Везде, везде все пары, пары - дрожанье губ и дерзость глаз»… Лизонька стала меня музой, вдохновившей меня на невероятные строки. И вечера, оканчивающие дни безалаберных прогулок, я проводил за пером и бумагой, сочиняя самые светлые и возвышенные свои стансы.

Благодаря Пьеру, я усиленно печатался и даже выпустил пару книжек, сделанных на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками и непривычным шрифтом. Если у меня нет ВЕХИ "Собственное издание", пишу ее себе.

На ниве упорного труда взошли первые плоды успеха. Мои стихи пользовались популярностью во Франции, а потом известность их дошла и до России. Если у меня нет ВЕХИ "Слава", записываю ее тоже.

Однако время благоденствия не было долгим. Близость войны делала жизнь во Франции все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия, и я решил уехать обратно в Россию. Мы слезно простились с моей Лизонькой и обещали обязательно найти друг друга в Петербурге. Направляюсь на 73.

§253. +++

§254.

Строка: "Лишь для себя мы строим этот столп" - 5

- Мое сердце безраздельно занято одной особой, - говорил я. - Ее зовут Лизонька и она подобна ангелу, ступившему на землю.

- Лизонька? Какая такая Лизонька? - восклицал мой друг, хватаясь за голову. - Ну что это за Лизонька? Откуда она взялась? Где ты ее встретил? Ты постоянно о ней твердишь, но она неуловима как призрак! Ее знает Коняшевич? Я писал ему - так он отвечал, что не помнит никакой белокурой особы с таким именем! - друг

неожиданно нежно обнял меня. - Бедный мой! Уж не выдумал ли ты ее? Уж не твое ли гениальное воображение сыграло с тобой злую шутку?

Я в гневе оттолкнул друга и выбежал прочь. На щеках моих горели слезы. Я отыщу ее! Обязательно отыщу и попрошу руки! –решил я. И тогда все они, черные завистники и злословы, будут грызть ногти с досады и завидовать тому, какое счастье мне досталось! Она верна мне, непременно верна - я знал это. Я свято верил, что она не обручилась ни с кем, не уехала за границу, что она так же ищет встречи со мной, как и я жду ее, и что лишь кровавая карусель последних лет не дает свершиться нашей встрече. Иду на 300.

§255.

Строка: "Пробивши

грудь

проклятой белизне!" - 1

В условленное время мы отправились за дружочком. Мой товарищ остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком. Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду. Вид у меня был устрашающий: залихватский пестрый картуз, надвинутый по самые глаза, золотой зуб, потасканный зипун с кусками ваты из швов, под зипуном - клетчатый пиджак на голое тело, в пальцах перекидные четки с деревянными бляхами.

- Побутить надо, - сиплым голосом прохрипел я вместо приветствия и движением головы предложил Маку выйти в парадную. Не смея возразить, тот покорно перешагнул порог своей квартиры, следуя будто под гипнозом. Жестом я усадил старика на корты и сам присел следом, как это было принято в блатной среде.

- Наша хевра вершает ты, баклан, у илая сажелку затяпал, - значительно сказал я, продавливая Мака взглядом. - Беспредел это.

- Видите ли...- начал Мак, теребя шнурок пенсне, но я сурово прервал его:

- Весовой решил - или ты, капорник, млеху отдакнешь, или мы тебя огорчим, - я выразительно чиркнул пальцем по горлу.

Мак попробовал рвануться назад, в квартиру, но я прихватил его за рукав и блеснул в глаза перышком из кармана. Мак все понял без слов.

Мы прошли в недра его буржуазной квартиры вместе. По пути я аккуратно прихватил с комода золотой портсигар. В спальне

обнаружилась дружочек в одном нижнем белье. Она была в немом восторге от моего образа.

- Шухер, бикса, подрывайся, - гаркнул я на нее. - Тикаем.

Счастливо зардевшись, дружочек стала одеваться, а я следил за Маком, что бы он не выкинул чего лишнего. Мак собирал в два внушительных по размерам свертка различную снедь.

- Вот, - проблеял он. - Тут еще извинение вашему другу, - он назвал моего товарища по имени-отчеству.

Но это было еще не все. Мака следовало проучить классово за его аристократические замашки. Когда дружочек уже перешагнула порог квартиры, я зажал Мака в, притемнил ему в зубы, так что тот осел, булькая кровью, и вышел.

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Гри.

Таково было время. Повсюду царили блатота и дикость. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке. Иду на 219.

§256.

- Как ваше самочувствие? – спросил я у Лизоньки.

- Лучше, - отвечала она. – Родители привезли меня сюда на лечение, и, кажется, я иду на поправку.

- Я написал вам стихи, как и обещал.

- Ах, прочтите, пожалуйста, прямо сейчас!

И я принялся на распев читать вдохновенный катрен. Но какие именно строки я посвятил своему белокурому ангелу?

Приду. Протяну ладони.
Скажу:
— Люби. Возьми. Твой. Единый...
У тебя глаза, как на иконе
У Магдалины... - 69

или

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит... - 270

Или

Я спросила у кукушки,
Сколько лет я проживу...
Сосен дрогнули верхушки,
Желтый луч упал в траву,
Но ни звука в чаще свежей...
Я иду домой,
И прохладный ветер нежит
Лоб горячий мой. - 292

§257. +++
§258. +++ -
§259.

Теперь иду на 221.

§260.

Солдатик ушел под трибунал. Батальон посмурнел, похолодел ко мне, но вещи пропадать перестали, и установилась относительная дисциплина.

Однажды я стоял в окопах и с любопытством посматривал на развалины местечка. Я узнал Сморгонь. Правое крыло нашего полка упиралось в ее огороды. Это было знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату. Темнело. Я вернулся в свою землянку.

Стояла душная июльская ночь. Сняв френч, я писал письма. Времени было уже около часа. Надо было ложиться. Я хотел погнать вестового. Но вдруг услышал какой-то шум. Шум нарастал. Я слышал топот ног. И звяканье котелков. Но криков не было. И не было выстрелов. Я выбежал из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватила меня. Я крикнул: "Газы!.. Маски!.." И бросился в землянку. Там у меня на гвозде висел противогаз.

Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Стал задыхаться. Открыв пробку, выбежал в окопы. Вокруг меня носились солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками. Нашарив в кармане спички, я поджег хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост был приготовлен заранее, как раз на случай

газовой атаки. Теперь огонь освещал наши позиции. Я видел, что все гренадеры вышли из окопов и легли у костров. Выучка и дисциплина спасали людей. Я тоже лег у костра. Мне было нехорошо. Голова кружилась. Я проглотил много газа, когда крикнул: "Маски!"

У костра становилось легче. Пожалуй, даже совсем хорошо. Огонь поднимал газы, и они проходили, не задевая нас. Я снял маску. Мы лежали четыре часа. Начинало светлеть. Теперь было видно, как идут газы. Это была не сплошная стена. Это был клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигался на нас, подгоняемый тихим ветром.

Можно было отойти вправо или влево - и тогда он проходил мимо, не задевая. Теперь было не страшно. Уже кое-где я слышал смех и шутки. Это гренадеры толкали друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.

В бинокль я посмотрел в сторону немцев. Теперь я видел, как они из баллонов выпускали газ. Это зрелище было отвратительно. Бешенство охватывало меня, когда я видел, как методически и хладнокровно они это делали. Я приказал открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказал стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимал, что вреда мы принесем мало - расстояние между нами составляло без малого полторы тысячи шагов.

Гренадеры стреляли вяло. И стрелков было немного. Я вдруг увидел, что многие солдаты лежали мертвыми. Таких было большинство. Иные же стонали и не могли подняться. Я услышал звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играли отбой. Газовая атака была окончена.



Опираясь на палку, я брел в лазарет. На моем платке алела кровь от ужасной рвоты. Я шел по шоссе. Я видел пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу.

Спустя неделю я был демобилизован. На память о войне у меня остался офицерский мундир с одиноким шевроном, да не проходящий хриплый кашель – поминок о том глотке фосгена. Пишу себе КЛЮЧ "Мундир(215)" и иду на 104.

§261.

Наша встреча после многолетней разлуки состоялась на одном из творческих вечеров в огромной темной аудитории университета, когда уже окончилось чтение стихов, и высокий амфитеатр стал окончательно пуст. Она снизошла с верхних рядов, таинственная и восхитительная, как Джоконда, закутанная в тонкий шелковый платок, скрывавший ее роскошные волосы. Я долго смотрел на нее, не узнавая, а когда узнал, только и смог произнести:

- Это вы?

Гулко ступая, я поднялся к ней навстречу и встал рядом, не смея ни обнять, ни даже коснуться, что бы ненароком не разрушить чудесный мираж ее присутствия.

Она откинула платок, и под ним не оказалось чудесных вьющихся локонов – только жесткий ежик коротко стриженых волос.

- Это с фронта, - уже потом рассказывала Мария, – в первой конной заведовала агитотделом. Перенесла три тифа, участвовала в боях, была ранена…

- Джоконда - и в боях…

- Да какая я Джоконда. Это вы в Одессе все тогда выдумали. В жизни все по-другому.

- Ну а что в жизни? – бережно спрашивал я.

- Вышла замуж. Уехала в Швейцарию. Родила дочь. После развода с мужем вернулась в Россию. Снова вышла замуж.

Армейские чеканные шаги взорвали тишину аудитории.

- Маша, ну вот ты где! – в наше уединение ворвался высокий красноармейский офицер в широких галифе и при мундире. Это стриженое имя «Маша» совершенно не шло моей Марии, как и коротко обрезанные волосы.

- Мой муж, командарм Ефим Щаденко, – представила его Мария. Я пожал широкую сухую руку командарма, наделенную священным правом – правом касаться моей милой Марии. Он вырвал у меня Марию из

деликатной тишины аудитории и уволок в свой беспощадный мир ружей, маневров и политагитации.

Потом мы не раз встречались украдкой на робких парковых свиданиях – и я больше никогда не называл ее ни Машей, ни Марией – я дал ей другое, священное имя Лала, которое было прославлено восточными мудрецами в страстных руладах. Я уподоблял нас легендарным любовникам - Мэджнуну и Лале, чью трагическую историю воспевали мастера Низами и Физули. От этого имени веяло жаром бескрайних пустынь, как и от нее самой, моей единственной...

Отношения Лалы с мужем складывались не самым теплым образом – они больше походили на обязательства, определенные военным уставом, нежели на семейную жизнь. У меня были все шансы заполучить ее, украсть наконец-то мою Джоконду.

Но каким образом? Может быть, я убедил ее развестись со своим командармом и предложил расписаться гражданским браком, зарегистрировав нашу семью в отделе гражданских состояний – 266 или же я не стал разрушать ее брака и, сблизившись с командармом на почве коммунистических взглядов, постепенно влился в их семейство? – 146.

§262.

- Проникновенно пишете, прочувствованно, – сказал начальник, политического ведомства, дородный штабс-офицер, скользя перстом по строкам моих стихов. – Чувствуется школа. Вспоминается почему-то дворцовая жизнь, эпиграммы, шелка, эполеты, банты… Прежняя эпоха была весьма похожа на оперу; жизнь в её века вся была какою-то оперною мифологиею. Для нас эта жизнь непонятна и непереносима; не те нервы, не те мускула; не тот стиль зданий, зал, гостиных. Самая душа уже не та. Орлов поубавилось, куриц – прибавилось. Не время нынче для таких стихов, не время…

С этими словами, он спрятал листок с моими стихами глубоко в стол и отпустил меня. Иду на 214.

§263.

Строка: “Прошли лета, и всюду льются слезы...” – 3

Вместе с составом мы вернулись обратно в Джибути. Я не очень огорчился подобной проволочке, так как мне полюбился этот городок с его мирной и ясной жизнью. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы казались вымершими; все двери были закрыты, и только изредка, как сонная муха пролетался какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято было спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появлялись экипажи, даже

автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе были полны народом. Между столов ходил карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просил, но если ему давали кусок сахару или мелкую монету, он благодарил серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетьями восточной грацией. Потом все шли на прогулку.

Улицы были полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовывались дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями - все в ослепительно белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе месье Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и нашего друга турецкого консула, о котором я говорил раньше. Там стелились узкие тропки между платанами и банановыми широколистыми пальмами, звучало жужжанье больших жуков и стоял полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестела вода. То там, то сям был виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу. Когда мы выходили, старик араб принес нам букет цветов и гранат, увы, неспелых.

Когда уже подходил конец нашего ожидания, прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что сталось с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды, и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. Нам стало окончательно ясно, что с места мы не сдвинемся, что подтвердилось на следующий день - пути вновь были размыты. Выполнив всю возможную работу и подсчитав вконец оскудевшие финансы, мы приняли решение завершать нашу экспедицию и отправились домой, на Родину. За время путешествия мы очень сблизились с Гуми, и по возвращении он пригласил меня участвовать в своей поэтической затее - организации сообщества, именуемого Цехом поэтов. Если у меня нет КЛЮЧа «Цех поэтов(148)», пишу его себе. Направление маршрута: 108.

§264. +++

§265.

Строка: "А здесь весь год неспешно вянут лозы" - 8

- Вы гений, - говорила мне Лили по-русски с очаровательным французским акцентом. - Вы вывернули наизнанку самую мою суть и показали мне ее. Льюблью вас…

Как трепетно и нежно звучало это “льюблью” в ее невинных устах! И пока Пьер был на службе в издательстве, в их комнате, на кровати, я сжимал в объятиях его бесценное сокровище.

И потом, когда он возвращался, Лили ускользала к подружке, а я спешил на политические дебаты в салоне Роже, так набивавшие Пьеру оскомину, что он решительно отказывался сопровождать меня туда, и мы с моей Дездемоной вновь встречались, уже в Булонском Лесу или в парке Багатель, что бы оставаться неразлучными до самой темноты.

Ты помнишь, раздвигая травы, мы опускались у куста? И были взоры так лукавы, и так застенчивы уста…»

А Пьер все не уставал удивляться тому, как много разных украшений и безделушек успела накупить на отдыхе его жена. Каждый день Лили демонстрировала то новый кулоном, то нежный шелковый шарф, то изысканное кольцо - все те вещи, которыми задаривал я свою богиню, без раздумья спуская скудные заработки.

«К стволу развесистого дуба затылком приклонялась ты, и жадно я впивался в губы - две влажно-алые черты…»

Разумеется, наше чувство не могло остаться незамеченным для мужа, живущего бок о бок с женой и ее любовником, сколь бы наивен этот муж не был.

Накануне войны по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия, и я предпочел вернуться на Родину.

«Дрожали лепестки смущенно в волнах вечернего огня...
Зеленоглазая мадонна,
Еще ты помнишь ли меня?”

Если у меня есть ВЕХИ “Собственное издание” и “Слава”, значит, я возвращаюсь в Россию как герой, окруженный лавровым венком почета - иду на 73, иначе иду на 108.

§266.

Строка: «Лишь для себя мы строим этот столп» - 3

Не смотря на общий прагматизм нашего времени, многие барышни все еще настроены были возвышенно и идею гражданского брака воспринимали крайне цинично.

- Я прошу вашей руки.

- Ах, это очень кстати. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если

бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе, спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей?

- Итак...

- Я согласна.

Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, переехали к Лале.

Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с "буржуазными предрассудками", запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья. С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор.

Я сказал:
- Хорошо, не буду оспаривать: письменный стол - это предмет роскоши. В конце концов, "Критику чистого разума" можно написать и на подоконнике. Но кровать! Должен же я на чем-нибудь спать?

- Куда вы переезжаете?

- К жене.

- У нее есть кровать?

- Есть.

- Вот и спите с ней на одной кровати.

- Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею. И вообще я предпочел бы спать на разных.

- Вы как женились -- по любви или в комиссариате расписались?

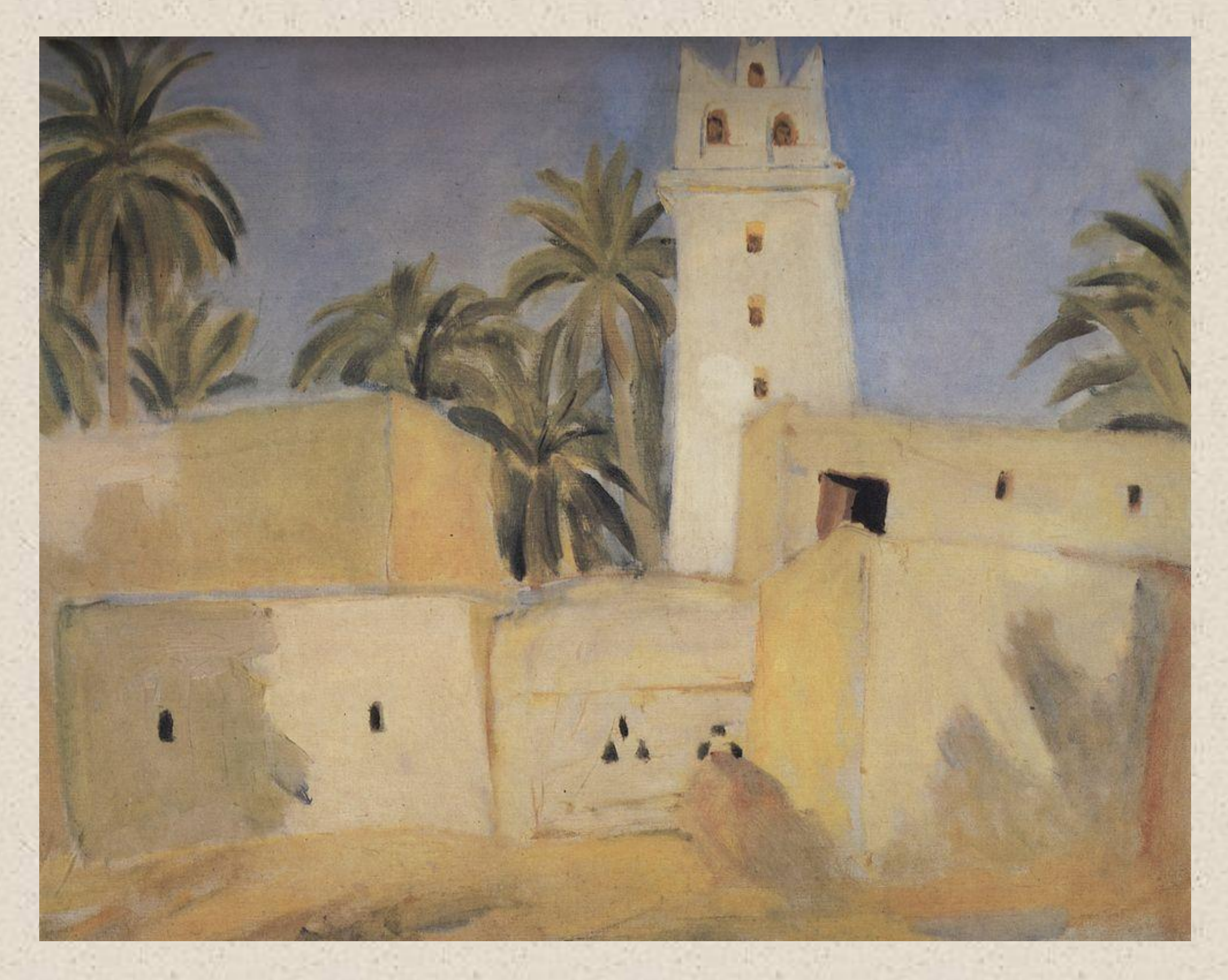
- В комиссариате расписались.

- В таком случае, гражданин, по законам революции - значит обязаны спать на одной.

Пишу ВЕХУ «Жена» и иду на 300.

§267. +++

§268.



Гуми говорил, что Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока он ее не видел, особенно европейская часть города. Когда то там было всего две улицы, теперь их набиралось с десяток. Были сады с цветниками, просторные кафе. БЫл даже французский консул. Весь город разделялся на две части руслом высохшей реки, которая наполнялась лишь во время дождя: европейскую - ближе к вокзалу, и туземную, представляющую просто беспорядочное нагромождение хижин, загородок для скота и редких лавок. В европейской части жили французы и греки. Французы являлись господами положения: они или служили на железной дороге, где получали хорошее жалование, или содержали лучшие отели и вели крупную торговлю; начальник почты был француз, доктор - тоже. Их уважали, но не любили за постоянно проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков и изредка армян находилась вся мелкая торговля Абиссинии. Абиссинцы называли их "грик" и отделяли от прочих европейцев, "френджей". В европейское, т.е. во французское, общество они за немногими исключеньями не были приняты, хотя многие из них были весьма зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращалось в настоящий игорный дом, я

видел ставки по нескольку сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам.

В европейской части города не было ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещались луной и окнами кафе.

В туземной части города можно было бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, сыскались шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продавали важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегали йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плели циновки, приготовляли по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, я неизменно слышал залах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности - просто важного начальника) висели хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходилось довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходили без дела с независимым видом. Они были завоеватели, и им работать считалось неприлично. За городом начинались горы, где стада павианов обгрызали молочаи и летали птицы с громадными красными носами.

Надо было составлять караван. Мы решили взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Харраре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харрарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу, а наутро отправились в Харрар. Направление маршрута: 286.

§269.

Машины залетали над позицией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

Майор Фаунт-Ле-Ро и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала меня, потом Трунова и весь остальной рассчет. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу.

Я лежал в высокой траве, единственный выживший из всей нашей бригады и высокое выцветшее небо сияло мне в лицо. Пулеметными очередями мне посекло ногу и оторвало кисть руки. Так война сделала меня инвалидом. После госпиталя я был демобилизован и вернулся в Москву, к ее привычной и скучной жизни. Пишу КЛЮЧ «Колченогий(170)», ВЕХУ «Красноармеец» и иду на 190.

§270.

Строка: «А здесь весь год неспешно вянут лозы» - 5

Иду на 252.

§271. +++
§272. +++

§273.

Строка: «Но дни идут - уже стихают грезы» - 3

Мы нашли в себе силы отказаться от заманчивого предложения Есенина и вместо Рязани отправились бродить по Москве. Я решил познакомить поближе Есенина со своим другом, который тоже был поэтом, но еще совсем не известным, хотя на мой вкус и очень талантливым, а так же крайне образованным в литературных вопросах. К сожалению, мой друг не помышлял о поэтической славе в силу своей постоянной занятости по службе и через Есенина я надеялся убедить его больше писать.

Кажется, они понравились друг другу. Во всяком случае, Есенин - уже тогда очень знаменитый - доброжелательно улыбался начинающему поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки. Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам.

Желая поднять своего друга в глазах знаменитого поэта, я сказал, что мой друг настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Есенин заинтересовался и предложил другу тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин. Друг взял у Есенина карандаш и на обложке толстого журнала "Современник", который был у меня в руках, написал "Сонет Пушкину" по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал - не помню. Есенин завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже

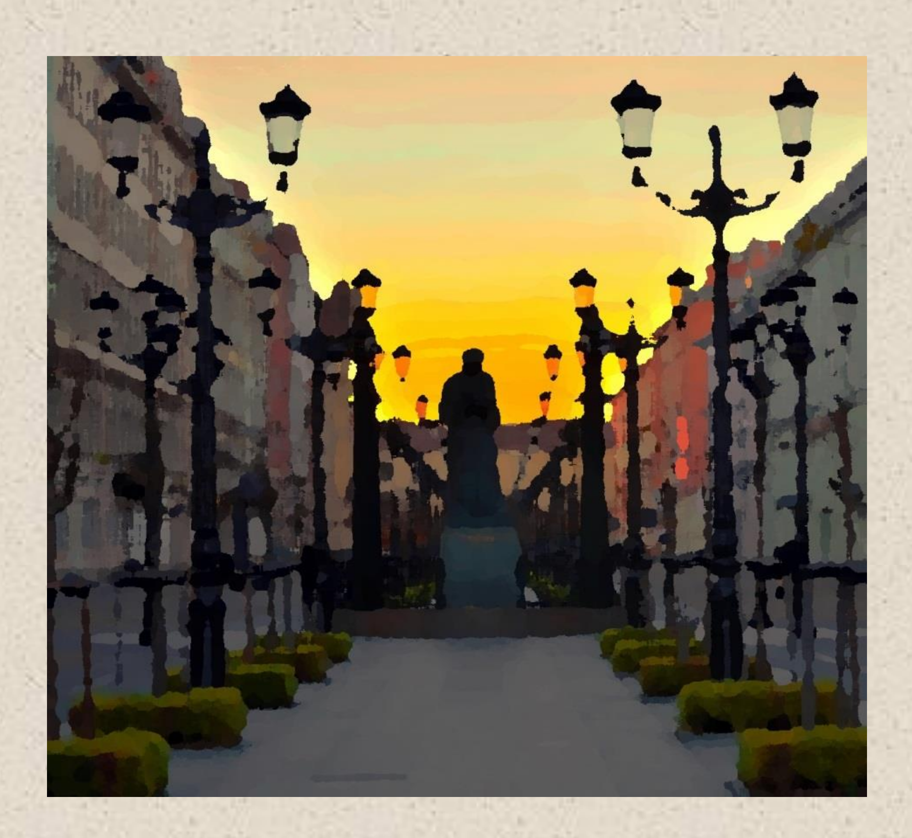
слегка порозовел, а потом наковырял на обложке журнала несколько строчек.

- Сонет? - подозрительно спросил мой друг.

- Сонет, - запальчиво сказал Есенин и прочитал вслух следующее стихотворение:

- Пил я водку, пил я виски, только жаль, без вас, *здесь была фамилия моего друга*! Мне не нужно адов, раев, лишь бы жил *здесь указывалась моя фамилия*. Потому нам близок Саша, что судьба его как наша.

При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном. Это было так смешно и трогательно...



Потом, до глубокой ночи мы бродили по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились и очутились в глухом переулке, где у Есенина всюду находились друзья - никому не известные простые люди. Мы разбудили весь дом, но Есенина приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как арлекин. В таких воодушевленных кутежах и проходила вся моя жизнь и внутренняя пустотность ее грызла самое мое нутро. Этой своей бедой я и решил однажды поделиться со своим другом. Иду на 201.

§274.

Когда в доме становилось тихо, на письменном столе горела зеленая лампа, а за окном была ночь, - с настойчивым постоянством возникали во мне эти мысли, и были они столь же разрушительны для моей воли к жизни, сколь разрушителен для моего организма был этот белый и горький яд, который в аккуратных порошках лежал на диване и возбужденно дрожал в моей голове.

Самым ужасным и неизменно следующим после многочасового действия кокаина явлением - была та мучительная, неотвратимая и страшная реакция (или, как медики ее называют, депрессия), которая овладевала мною тотчас, лишь только кончался последний порошок кокаина. Реакция эта продолжалась долго, на часах длилась примерно в течение трех, иногда четырех часов, и выражалась в такой мрачной и такой смертной тоске, что хоть разум и знал, что через несколько часов все это пройдет и выветрится, но чувство в это не верило.

И я лежал, сжавшись в комок на диване, и пытался преодолеть это неверие, отследить те физиологические признаки, которые возвещали близость избавления. Я стискивал до скрежета зубы, я рвал пальцами обивку, молился или просто бормотал бессвязно, пытаясь хоть как-то отлечь себя от пагубных мыслей об избавлении через принятие еще одной дозы. Могло ли хватить моей выдержки, моей рассудительности, чтобы убедить себя в возможности переждать дробящий кости ад без очередной порции зелья? Для этого я должен был быть хорошо осведомлен в медицинских терминах. Только знание основ физиологии могло помочь мне в этой схватке с самим собой. Знаю ли я, к примеру, что такое обсессия?

Это нарыв, гнойное воспаление тканей с их расплавлением и образованием гнойной полости - 192

Бредовое расстройство, характеризуемое уверенностью в собственной несостоятельности, невозможности что-либо изменить - 177

Это синдром навязчивых состояний: мыслей, идей, образов - 234

§275.

И вот я сижу за столиком «Русского кабаре» и вся моя жизнь протекает перед моим внутренним взором вереницей тоскливых событий. Я скитаюсь по этой жизни как одинокий обездоленный странник и нигде не находится мне приюта в долгой и печальной дороге. Воспоминания надгробными плитами букв ложатся на бумагу, заставляют сердце болезненно сжиматься в груди и рваться сухим комком к горлу.

Теперь я понимаю точно - единственным смыслом, путеводным фонарем в жизни для меня была лишь любовь. Я искал ее всегда,

каждую секунду своего существования в кипящей пучине жизни. Искал… и не находил. Несчастливый ловец жемчуга, ни разу не доставший сокровенной жемчужины со дна моря.

Сведенные судорогой пальцы скребут грудь под рубашкой. Проклятое сердце… Когда-нибудь я сдохну здесь, в тоске и безысходности и никто не вспомнит моего имени…

Так меланхолично я размышлял в тот момент, когда внезапно я увидел ее – бледный силуэт во тьме, милое совершенное лицо. Божественное создание, прекрасный белокурый ангел явилась ко мне из-за соседнего столика. Возможно, мы и не встречались никогда раньше, но облик ее был до боли знаком мне. Я с одного взгляда понял, что это она – моя любовь и испугался, что ангел порхнет мимо, что не заметит меня. Я вскочил со своего места и, сломив голову, устремился к ней. В левый бок словно пырнули ножом и я споткнулся. Предательское сердце вздумало подвести меня в самый неподходящий момент.

Но мой ангел в снежных одеяниях не думал ускользать от меня. Освещенная своей кроткой улыбкой, она плыла прямо ко мне через марево папиросного дыма. Мы оказались лицом к лицу. Слова были не нужны. Может быть, и не нужны были все те мытарства, что выпали на мою долю? Может быть, нужно было просто ждать, и это встреча произошла бы точно так же, как она случилась сейчас? Или же все мои мучения были положены на алтарь этого счастья, слезы были воскурены в жертвенных чашах храма этого счастливого момента, и лишь благодаря всем этим подношениях случилось то, чего я так долго ждал? Мы что-то говорили друг другу, но слова жили отдельно от нас. Взгляды и прикосновения рук были красноречивее любых слов.

Тьма ласково обнимала нас, и мы не слышали возмущенных голосов посетителей заведения, которым мы закрывали обзор сцены своими силуэтами. Я вспомнил, что такой же уютный мрак царил во втором этаже дачи Коняшевича, когда лишь холодные лучи предзакатного осеннего солнца освещали мансарду дома через большое полукруглое окно. Сейчас свет струился в распахнутые на улицу двери, зияющие белым проемом за чернильной тьмой залы. Рука об руку мы направились к этим дверям и вышли наружу – в вечную весну, правящую городом.

В своей тоске я и не заметил, что весна уже наступила, что распустились почки на деревьях и воздух стал теплым и прозрачным. Я вспомнил цветущие каштаны в парках Монпарнаса, которые распускались над нашими головами несколько лет- а казалось бы, целую вечность назад. Кажется, ее звали Лизонька… А может быть этого и не было никогда…

Вокруг живописно простирались вечнозеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, из-под земли вылезали новорожденные крокусы и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное

лазурное небо разноцветные - совсем не такие, как у нас в России,- бумажные змеи с двумя хвостами…



За столиком у самой сцены кабаре люди нашли русского поэта-символиста, чье имя уже в те годы стало легендарным. Он лежал, уткнувшись щекой в исписанные листы и, казалось, спал. Но ледяная холодность кожи и отсутствие дыхания указывали на то, что поэт был мертв. Когда его подняли и перевернули, то люди увидели, что покойного было освещено умиротворенной и тихой улыбкой, будто перед смертью он увидел что-то очень хорошее.

Одни говорили, что его душа, измученная скорбью по погибшей Родине, не выдержала и оставила бренное тело, другие утверждали, что неугодный поэт был отравлен и кровавый советский режим утолил свою страсть к уничтожению непокорных гибелью очередной несчастной жертвы.

Последней строкой, выведенной рукой поэта, было:

«Хоронят нашу Родину в сугроб».

(Ваш пасьянс сошелся)

Те, то прочли его – плакали, они называли финальное творение поэта вершиной его творчества. Прибывшие жандармы надеялись, что другие строки произведения, оконченного так неоднозначно, смогут пролить хоть какой-то свет на судьбу автора. Вам эти строки прекрасно известны, так что решайте сами – как все было на самом деле. Memento Mori.

§276.

Осознавая безвыходность своего финансового положения, страдая от отсутствия постоянного жилья (комитет культуры никак не желал выдать мне личную квартиру), мотаясь по друзьям и знакомым, я задумал изыскать способ одним разом решить все свои проблемы и посватался к Софье Толстой, внучке великого русского писателя Льва Толстого.

Но нельзя сказать, что это был холодный, расчетливый план. Знакомство наше вышло почти случайно. Она слушала, как я читал стихи в «Стойле Пегаса». После окончания вечера я вызвался проводить Софью Андреевну до дома. Мы вышли на улицу, и долго бродили по ночной Москве... Софья нравилась мне, но я никогда не любил ее.

Помолвку нашу отмечали весело. За столом собралось писательское общество, в основном, мои товарищи. Вино бурлилось, как кровь из перерезанной вены. Трио приглашенных баянистов по моему требованию без конца исполняло увертюру «Лакримозы» Моцарта.

- Это просто невыносимо, - ругался кто-то из гостей на музыкантов. – Вас чему-нибудь еще обучали?

А я требовал играть по новой и по новой.

Вошел мой друг, единственный и самый преданный из всех, что когда-либо были у меня. Он опоздал к началу вечера и тактично извинился, переступив порог.

Я представил ему присутствующих и свою невесту, Софью Толстую.

- Всё кругом эта она, - ехидным пьяным голоском восторгался я. Софья Андреевна была девушкой святой простоты и не понимала моих скользких полунамеков. А я не мог сдерживать рвущуюся из горла изжогу от собственной низости. Всем и всё было ясно вокруг, кроме моей бедной дурочки – она-то воспринимала мои сомнительные комплименты искренне, а меня, как выпью, тошнило от одного вида ее «дедушкиного» профиля, и хотелось злословить не переставая.

- Если бы был жив Лев Николаевич, этого бы типка здесь не было, - переговаривались за столом толстовские гости, кивая на меня.

- Весело тут у вас, как на похоронах, - корректно подметил обстановку мой друг.

- Заметил, да? – криво ухмыльнулся ему я.

- Что ж ты делаешь? – зло свистнул друг мне в ухо. – Ты же ее не любишь!

- Мне жить негде, - бормотал я в свое оправдание. – Мне семейного угла хочется, семейного счастья. Ты же сам

советовал... Ну и вот. Только здесь меня не любят. Теща ненавидит. Они только своего знаменитого деда любят. Кругом одна борода...

Друг, не сдержавшись, прыснул.

- Меня никто не любит... – продолжал я. - Только разве что... А скажи, правда, что у Сонечки глаза добрые?

- Да, как у дедушки, Льва Николаевича, - вежливо улыбаясь, но договаривая не высказанную шпильку глазами, ответил друг. Не острить над Софьей Андреевной мы просто не могли.

- Одно лицо, - плакал я в плечо другу. – Только бороды не хватает. У ней ноги волосатыеее... Как мне с ней в постель ложиться? Я не представляю!

- Перестань, - одергивал друг. – Услышат же...

- Сонечка, вина еще надо, родная моя! Будем пить вино!

Я садился к баянистам и просил их начинать снова и снова.

- Может что-нибудь другое? – взволнованно спрашивали они, боясь что хозяева мало заплатят.

- Еще разок, милые мои, последний, – со слезами на глазах умолял я. И когда они, вздохнув, играли, я рыдал в голос, не умолкая, прислушиваясь к трагическим переливам гармоники, отпевавшей мою загубленную жизнь.

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...

Гармонист пальцы льет волной.

Пей со мною, паршивая сука,

Пей со мной!

Стараясь изжить толстовское наследство из своей суженой, я никогда больше не звал ее ни Софьей, ни Сонечкой. Я нарек ее Лалой, именем, которое было прославлено восточными мудрецами в их страстных руладах. Я уподоблял нас легендарным любовникам - Мэджнуну и Лале, чью трагическую историю воспевали мастера Низами и Физули. А стерва-теща думала, что я издеваюсь над бедной девочкой, клича ее прозвищем какой-то своей подстилки.

Если у меня есть ВЕХА «Голяк», вычеркиваю ее.

Как именно я решил оформить свой союз с Лалочкой? Может быть, в духе того времени я предложил ей расписаться гражданским браком, зарегистрировать нашу семью в отделе гражданских состояний и поселиться на общей площади - 266 или же я, собрав остатки

совести, хотел соединить наши души узами истинного христианского брака, не взирая на общую немилость к церкви, сложившуюся в молодом советском государстве? - 280.

§277.

Молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, разложил лопаткой с длинной ручкой ставки и запустил белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозгласил:

- Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

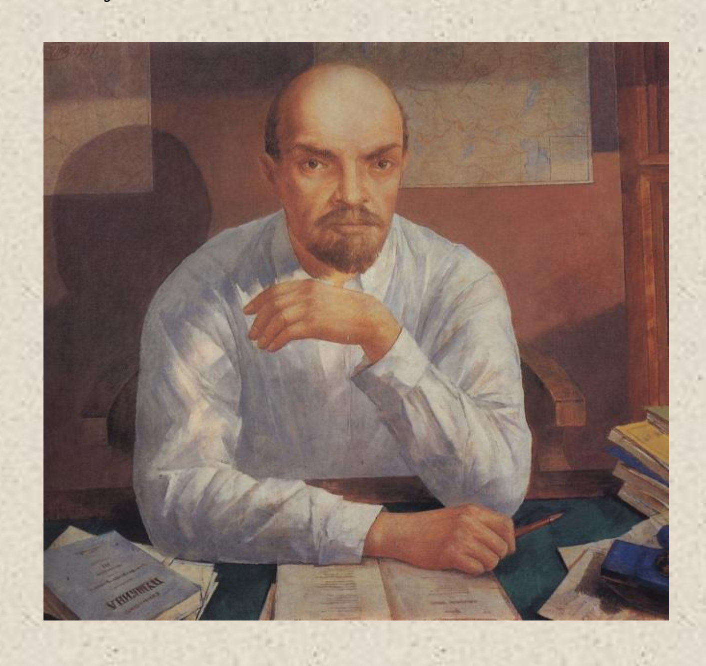
Итаааaак, выпало… За результатом иду на 142.

§278.   +++
§279.

Строка: "Кудахтать брось про белые березы" - 1

Пьер познакомил меня с человеком, которого в партии называли "Сергеем Петровичем", "Игнатом", "Павловичем", "Музыкантом" или "Шпилькой". Настоящая его фамилия была Красиков. Он поразил своею пугливостью. Сидя у нас в комнате и оглядываясь по сторонам, он прежде всего спросил, можно ли говорить громко и из осторожных слов его я понял, что он не чувствует себя находящимся в раю.

Выслушав мою историю, он согласился свети меня с Ильичом. Вскоре мы были у Ленина. Я увидел крепко сложенного человека, небольшого роста, лысого с редкой темно-рыжей бородкой и такими же усами.



В первые же минуты визита к Ленину я познакомился с одним, только ему принадлежащим, жестом. Говоря или споря, Ленин, как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запуская большие пальцы за борт жилетки около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой, быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбьи плавники. В публичных выступлениях такая жестикуляция имела место сравнительно редко. При разговорах же, особенно если Ленин вдалбливал своим слушателям какую-нибудь мысль, а в каждый данный момент он всегда бил словом только в одну мысль, эта жестикуляция, этот шаг вперед и шаг назад, игра сжатым и разжатым кулаком - происходила постоянно. Постоянно попадая в поле зрения собеседников, ленинская жестикуляция настолько их заражала, что некоторые из них, например, Красиков, тоже начинали запускать пальцы за жилетку. Ленин гипнотизировал и этим…

Я рассказал ему обо всех обстоятельствах, которые привели меня сюда, во Францию. Ленин слушал меня с огромным вниманием, блестя прищуренными по привычке глазами, а потом сказал:

- Записать бы вам все это, батенька! Замечательно поучительно все это, замечательно…

Я обещал Ильичу по возможности взяться за такую работу.

До самого своего отъезда я еще не раз бывал у Ленина. Он любил слушать мои рассказы, сам любил говорить преимущественно о политике и давал мне читать различную революционную литературу. Пишу КЛЮЧ "Революционер(208)".

Однако время благоденствия не было долгим. Близость войны делала жизнь во Франции все более невыносимой. В 1913 году по случаю 300-летия Дома Романовых политическим эмигрантам была предоставлена амнистия и я предпочел вернуться на Родину.

Если у меня есть ВЕХИ "Собственное издание" и "Слава", значит, я возвращаюсь в Россию как герой, окруженный лавровым венком почета - иду на 73, иначе иду на 108.

§280.

Строка: "Вернуться в дом Россия ищет троп..." - 3

Накануне Лала говорила мне: "И чего ты женишься. Ведь мог бы еще хорошую партию сделать. Да к тому же венчаешься. Я то, дурочка, счастлива, а тебе беда будет. Сейчас такое осуждают". А я сказал ей: "Нет, я счастлив, что это будет. И мне начхать на мнение толпы."

В церковь мы пришли пешком. Лала была в белом платье, но без фаты. В соборе пел женский хор. Вошли, и вся эта церковная красота, этот остров "старого" мира в море грязи, подлости и низости "нового", тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей - все было так прелестно! “Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою…”

Вся служба напоминала нечто древнее, точно все происходило в катакомбах. Было приятно, что не присутствовало никого из "провожатых". Мы словно погрузились в иную жизнь, в иное пространство благости и счастья, недоступное ныне. Тот мир - бесконечно чистый - сгинул уже навсегда. Он остался жить лишь в стихах той поры и более его не сыщешь нигде. Да еще мои воспоминания воскрешают на краткий миг прелесть тех незабвенных часов.

Под трели церковных песнопений мы обменялись кольцами, и священник благословил нас в мерном свечном сиянии. «И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко, у Царских Врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад...”

Разумеется, этот жест моей души не остался без внимания тех, кто держал власть в нашем молодом советском государстве. Пишу ВЕХИ “Несознательный” и “Жена”. Иду на 300.

§281. +++
§282.

Строка: «Но дни идут – уже стихают грезы» – 3

После выходки Есенина настроение в комнатке установилось совсем конфузное. Мы с хозяйкой старательно делали вид, что ничего не произошло и вскоре Сергею это стало совсем невыносимо. Не дождавшись Асеева, мы ушли: Есенин вновь на какой-то неопределенный срок, так как ему все прощалось и через какое-то время его снова примут, забыв обиды, я же уходил навсегда.

Есенин вдобавок к своему размалеванному лицу, нарядился в плащ и цилиндр, привезенные сувенирами из заграницы. Мы шлялись всю ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков. Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая седоков, возле еще не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними - следами ноябрьских дней семнадцатого года.

Извозчик дремал на козлах. Есенин подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старика, пощекотав ему бороду.

Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил: еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков.

- Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь? - сказал Есенин.

- Ты что! Не замай! - крикнул в испуге извозчик.- Не хватай вожжи! Ишь фулиган! Позову милицию,- прибавил он, не на шутку рассердившись.

Но Есенин вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что Есенин совсем по-ребячьи показал ему язык, после чего они - Есенин и извозчик - трижды поцеловались, как на пасху. И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом. Это были золотые денечки нашей легкой дружбы, проходившие мимо нас пустой канителью и я подобно Есенину и, зачастую и вместе с ним, нещадно пил и никак не мог отделаться от своего пьянства. Иду на 201.

§283.

В одной из деревень, где мы заночевали, я заболел. Скоро выяснилось, что своими средствами вылечиться нельзя, и меня отправили в полевой госпиталь. Там определили, что у меня воспаление легких в довольно тяжелой форме - очень сильная была температура.

Об этой болезни у меня сохранилось довольно хорошо одно воспоминание. На одной какой-то маленькой нас выгрузили из состава и положили на солому в станционные постройки. Мимо меня прошел доктор, который на минутку остановился около меня, послушал мое дыхание и довольно громко, не стесняясь, сказал: "Ну, этот кончается, так что больше ему ничего не делайте". Но все-таки какая-то сестра милосердия, которая следовала за этим доктором, вспрыснула мне камфару. Как это ни странно, когда я попал наконец в постоянный госпиталь в Ставрополе, мне стало лучше и я стал поправляться.

А потом в город неожиданно вошли красные и все, кто находился на излечении в военном госпитале, из больничных палат переместились в тюремные камеры ЧК. Спасла меня совершенно фантастическая случайность. Из вышестоящего органа ОГПУ приехал с инспекцией чекист, который запомнил меня на давнем моем митинге в Петербурге перед Казанским собором. Кажется, мы были как-то мимоходом знакомы с этим чекистом и ранее. Для него это был достаточный повод выпустить меня. Все остальные же, с кем мне довелось совершить путешествие из лазарета в темницу, были потом расстреляны, а я же благополучно вернулся в Москву. Иду на 190.

§284.

Я смотрел в унылое лицо солдатика, на его жалкую улыбку, дрожащие руки... Мне было отвратительно, что я погнался за ним. Вынув бритву, я отдал ему коробку и ушел, раздраженный на самого себя.



Дальнейшее случилось месяц спустя. Ровно в двенадцать ночи мы вышли из окопов. Было очень темно. В руках я держал наган.

- Тише, тише, - шептал я, - не гремите котелками.

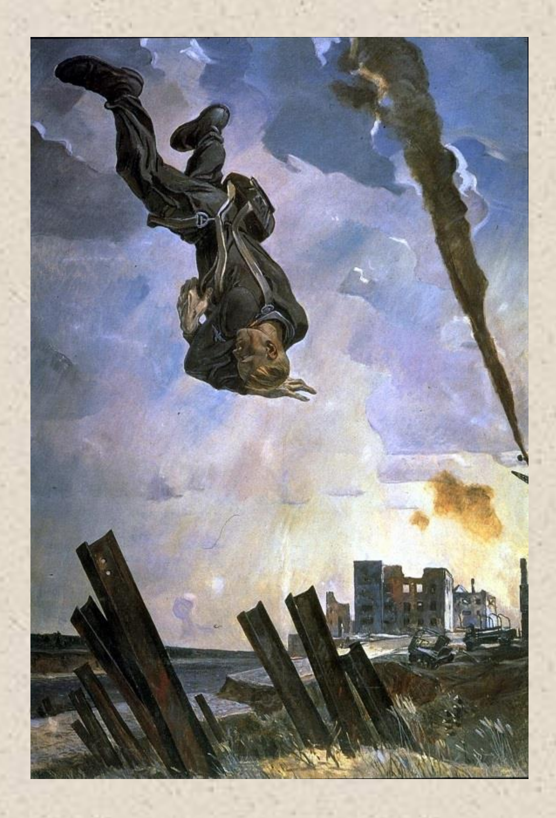
Но грохот унять было невозможно. Сказывалось отсутствие дисциплины. Немцы начали стрелять. Это было досадно. Значит, они заметили наш маневр. Под свист и визг пуль мы побежали вперед, чтобы выбить немцев из их траншей.

Поднялся ураганный огонь. Стреляли пулеметы, винтовки. И в дело вошла артиллерия. Вокруг меня падали люди. Вот мы оказались уже у самых немецких заграждений, и мои гренадеры принялись резать проволоку. Неистовый пулеметный огонь прекратил нашу работу. Не было возможности поднять руку. Мы лежали неподвижно.

Лежали час, а может, два. Наконец телефонист протянул мне телефонную трубку. Говорил командир полка:

- Отступайте на прежние позиции.

Я отдал приказ по цепи. Мы поползли назад. И тут мир крутанулся, словно в окошке калейдоскопа, рассыпавшись на мириады стекляшек. Грохот я услышал значительно позже и не был уверен, что он звучал где-то помимо моей головы. Я пришел в себя утром, в полковом лазарете, когда мне делали послеоперационную перевязку. Нас накрыло снарядом и меня всего иссекло осколками. Я потерял ногу ниже колена и кисть.



Командир полка, князь Макаев, навестив меня, говорил:

- Я очень доволен вашей ротой.

- Мы ничего не сделали, ваше сиятельство,- сконфуженно отвечал я.

- Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.

- Ах, это была демонстрация?

- Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.

Я чувствовал в своем сердце невероятную досаду, но не показал вида.

Так война сделала меня калекой, ущербным инвалидом. После госпиталя я был демобилизован домой. Но, покалечив тело, вражеская бомба не сумела повредить мой несгибаемый дух. Я мечтал только об одном - поскорее поправиться и излить пережитое

на войне бумаге. Пишу себе КЛЮЧи "Мундир(215)" и "Колченогий(170)". Иду на 104.

§285.

Строка: «В стяжаньи Рая все мы виртуозы» - 5

Это был мой декаданс. Известно, что чем сильнее чувство, овладевающее человеком, тем слабее способность самонаблюдения. Пока я находился под действием кокаина, чувства, возбуждаемые им, были настолько могущественны и сильны, что моя способность наблюдения за собой ослабевала до степени, как это возможно наблюдать только у некоторых душевнобольных. Таким образом чувства, владевшие мною, пока я находился под кокаином, уже не сдерживались ничем и полностью, вплоть до идеальной искренности, вылезали наружу, проявляясь в моих жестах, и в моем лице, и в моих поступках.

Под кокаином до таких громадных размеров вырастало мое чувствующее Я, что самонаблюдающее Я прекращало работу. Но лишь только кончался кокаин, как возникал ужас. Ужас этот заключался в том, что я начинал видеть себя, видеть таким, каков я был под кокаином. И вот наступали страшные часы. Тяжело опадало тело, в злобном отчаянии от невыразимой, неизвестно откуда взявшейся, тоски ногти врезались в ладони, а память, как в тошноте, возвращала обратно все, и я смотрел, не мог не смотреть на эти видения зловещего срама.

Каждый раз, лишь только кончался кокаин, возникали эти видения, эти картинные воспоминания о том, каким я был, как выглядел и как себя странно вел, - и вместе с этими воспоминаниями все больше и больше росла уверенность, что очень и очень скоро, если не завтра, то через месяц, если не через месяц, так через год - я кончу в сумасшедшем доме. С каждым разом я все увеличивал дозу, нередко доводя ее уже до трех с половиной грамм, тянувших действие наркоза в течение, примерно, двадцати семи часов, но вся эта моя ненасытность с одной, и желание отдалить ужасные часы реакции с другой стороны, делали эти, возникавшие после кокаина, воспоминания все более и более зловещими. Увеличение ли дозы, расшатанный ли ядом организм, или и то, и другое вместе было тому причиной, - но та внешняя оболочка, которую выделяло наружу мое кокаинное счастье, становилась все страшнее и страшнее. Какие-то странные мании овладевали мною уже через час после того, как я начинал нюхать, - иногда это была мания поисков, когда кончался коробок со спичками и я начинал искать их, отодвигая мебель, опоражнивая ящики стола, при этом заведомо зная, что никаких спичек в комнате нет, и все же с наслаждением продолжая поиски в течение многих часов беспрерывно, - иногда это была мания какой-то мрачной боязни; ужас который усугублялся тем, что я сам не знал, чего или кого я боюсь, и тогда долгими часами, в диком страхе, сидел я на корточках у двери, внутренне раздираемый с одной стороны невыносимой потребностью свежей понюшки кокаина,

который я оставил на диване, с другой - страшной опасностью хотя на короткое мгновение оставить без присмотра охраняемую мною дверь. Иногда же, а за последнее время это стало случаться часто, все эти мании овладевали мною сразу, - тогда нервы доходили до последней возможности напряжения, - и вот однажды (это случилось глубокой ночью, когда в доме спали, и когда я, приложив ухо к щели, сторожил дверь), в коридоре вдруг что-то гулко по ночному ухнуло, одновременно во мраке моей комнаты возник протяжный вой, и только спустя мгновение я понял, что вою-то это я сам, и что моя же рука зажимает мне рот.

Пишу ВЕХУ «Кокаин» и иду на 201.

§286.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славились своей быстроногостью, и здесь действовало общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо было взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше накапливалась усталость. Билось сердце и захватывало дух: словно я шел на любовное свидание. И зато бывал вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможенные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит - горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харрарском плоскогорье. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы - старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили нжиры (род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб) и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харрар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро - Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Харраром.



Уже с горы Харрар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, - все это полно прелести старых сказок.

Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel'a. Но все-таки приятно было выпить освежительного шербета и сыграть партию в засаленные и обгрызанные шахматы.

Здесь же, в Харраре, выяснилось - чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Гуми телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмача Тафари. К дедьязмачу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмача, принесли, поставили к его ногам купленный нами ящик с вермутом.

Дворец дедьязмача большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный двор; дом напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожиданья на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмача. Дедьязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шаму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим

полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелнка, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харрар. Тогда мы просили дедьязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра лидж Иассу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмач проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

После окончания приема, когда принц с семейством покинул нас и Гуми собирал фотографическое оборудование, ко мне подошел абиссинец-посыльный от принца и шепнул, что дедьязмач приглашает меня на личную аудиенцию сегодня вечером. Подумав, что это такая местная традиция и что Гуми получил такое же кулуарное послание, я принял это приглашение и даже не подумал заговорить о нем с Колей. Остаток дня Гумилев провел в блужданиях по Харрару в поисках различных восхитительных древностей, а я был предоставлен сам себе. Когда же я в назначенное время подошел к воротам дворца дедьязмача, то с удивлением обнаружил, что среди присутствующих не оказалось Гумилева. Вхожу через 299.

§287.

Революция 1905 года принесла свои плоды – в головы людей пришла идея грядущих перемен. Но воззрения на суть этих перемен радикально отличались. Считал ли я, что в революцию надо вовлекать новые массы рабочих, крестьян и вести их на борьбу против царизма, разрушать до основания все старое - 207?

Или же я полагал, что революция окончена и наступил период перехода к легальным формам борьбы: в Государственной думе, профсоюзных и различных общественных организациях, основной задачей которой было сохранение единой и неделимой России - 235?

§288.

Строка: "Я
букволлет!
И говорю
без позы - " – 1

- Послушай,- сказал я,- я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой - и мы уходим.

- Я? - с непередаваемым презрением воскликнул Есенин.- Чтобы я извинялся?

- Тогда я тебе набью морду,- сказал я.

- Ты? Мне? Набьешь? - с еще большим презрением уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом Есенин. Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться как мальчишки. Затрещал и развалился подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля. Упала на пол ваза с белой и розовой пастилой. Полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек. Ксения в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая лебедино-белые руки:

- Спасите! Помогите! Милиция! - но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа! Мы с Есениным вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатились вниз по лестнице. Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны, причем я был уверен, что нашей дружбе конец, и это было мне горько. А также я понимал, что дом Асеева для меня закрыт навсегда. В таких вот разрушительных кутежах я проводил все свои дни. Иду на 201.

§289.

Строка: «Пора бы распрямить нам сколиозы» - 1

Если у меня есть КЛЮЧ «Колченогий», то, не вычеркивая его, иду на 237. Иначе иду на 269.

§290.

Строка: «В стяжаньи Рая все мы виртуозы» - 8

Вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета, как бы простреленных навылет дробинкой, и Есенин сразу же устремился на перрон, с тем чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село, к маме. Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа, а до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере.

Лицо Есенина помрачнело. Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно - по щучьему веленью, по его хотенью. Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения. Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках.

В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма - первые, еще весьма скромные порождения нэпа. После покупки билетов у нас еще осталось немного денег - бутылки на три пива. Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навыпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло. Началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь.

Время от времени Есенин выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского. Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов. Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда мой друг предложил вернуть обратно

в кассу его билет, так как он хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем. Мы охотно согласились, и билет друга был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать.

Тогда Есенин, который начал читать нам свою длиннейшую поэму "Анна Снегина", печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета, после чего камень свалился с наших душ: слава богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город, и Есенин, забыв свою старушку маму в ветхом шушуне и шуструю сестренку и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со всхлипами и надсадными интонациями... Одним словом, вместо Константинова мы, уже глубокой ночью, брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились и очутились в глухом переулке, где у Есенина всюду находились друзья - никому не известные простые люди. Мы разбудили весь дом, но Есенина приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как арлекин. В таких воодушевленных кутежах и проходила вся моя жизнь и внутренняя пустотность ее грызла самое мое нутро. Этой своей бедой я и решил однажды поделиться со своим другом. Иду на 201.

§291.

Савицкий долго хохотал над моей пугливой просьбой, но к канцелярии приписал.

Командование постоянно двигалось на новые позиции, в соответствии с линией фронта, и ставка перемещалась вместе с ним, оказываясь то в старом барском доме, то в школе, то вообще где бог пошлет. Работа была сплошь бумажной волокитой - директивы, приказы, оперативные сводки, разведсводки, обеспечение работы политотдела, ревтрибунала и конского запаса.

Я думал, что война надолго отнимет меня от творчества. Но пороха мы почти не нюхали и, между делом, от скуки, я вскоре взялся за старое - за писательство.

Каждый день я подходил к забору, на котором была наклеена "Красная газета". В газете имелся "Почтовый ящик". Туда печатали ответы авторам.

Я написал маленький рассказ о деревне и послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидал ответа.

Я написал этот рассказик не для того, чтоб заработать - мне казалось это нужным - написать о деревне. Воплотить все свои новые впечатления на бумаге. Рассказ я подписал псевдонимом - Чирков.

Моросил дождь, на улице было зябко. Я стоял у газеты и просматривал "Почтовый ящик". В глаза бросилось: " Чиркову.- Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри". Я не поверил своим глазам - отзыв поразил меня до самой глубины души. Может быть, меня не поняли?

Стал вспоминать то, что написал. Нет, как будто бы правильно было написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой... Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России больше не было... Передо мной бурлили своим кипением новый мир, новые люди, новая речь...

Черт меня дернул снова взяться за старое. Больше такого повториться было не должно. В происшедшем была виновата моя неподвижная, сидячая работа. У меня было слишком много времени для того, чтобы думать.

Если я решил покончить с кислой штабной работой и для проветривания попроситься на фронт, иду на 175. Если же эта перспектива была для меня слишком пугающей, иду на 183.

§292.

Строка: «Прошли лета, и всюду льются слезы...» - 6

Иду на 252.

§293.

Если у меня есть уже одно попадание в Латунского, иду на 88. Иначе иду на 167.

§294.

Я кончил свое стихотворение, написанное в отчаянии парижского кабаре так:

«Сумеют

остудить

мой пылкий

лоб!»

(Ваш пасьянс сошелся).

- Браво, маэстро! – кричала публика, восхищенная лживым образом поэта-самопожертвенника.

Но судьба моя решалась не на подмостках того дымного кабаре, а там, где ей и было положено было решиться. Когда я вернулся на Родину, меня ожидал суровый и справедливый суд за мое малодушие.

Политика партии методично и верно наставляла меня на истинный путь, выкорчевывая из печати мои гнилые стишки. Сам я в своей глупости, не способный осознать этот урок, готов уже был лечь виском на дуло пистолета, но Лала спасла меня, и наставила на верный путь. Когда клеймили мое имя, сделали его ругательным, запретили все мои стихи - и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда она уговорила меня, что бы я публично покаялся, высказал отречение от своих прежних ошибок и пообещал писать только правоверные стихи. Мы даже придумали заглавие для такого сборника: «Веселая Колхозия» и составили письмо, где было сказано, что я порицаю свои прежние книги, сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма. Это отречение было напечатано в газетах, повинность мою приняли благостно и мои новые произведения, полностью одобренные и выверенные, получили свободный доступ к читателю.

И вот завершена эта книга – покаянная грамота перед вами за мой век, «лихой и бунташный». Работа над «Веселой колхозией» идет полным ходом и скоро я порадую вас, мои дорогие читатели, этими замечательными и искренними стихами.

Какое счастье, что литература попала в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра, словно дверь распахнули. Прежде она была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк. Многие фальшивые репутации лопнули, а для всего творческого подлинного впервые появился прочный фундамент.

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Так получилось, что эта книга о поэте серебряного века оказалась в итоге о том, как поэт перестал быть поэтом. После своего покаянного письма, он не написал больше ни строчки стихов.

§295.

Строка: "Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране..." – 3

Я принял предложение дедьязмача и спустя какое-то время мне принесли деревянную миску с протертой кашицей. Она состояла из неких наркотических грибов, которые местные употребляли во время мистических церемоний. После того как я съел предложенное мне угощение, мы стали курить кальян. Первое время я не замечал никаких странностей, а потом вдруг понял, что время движется невероятно медленно и дым кальяна втекает в меня и вытекает

наружу с потрясающей плавностью, затрачивая на каждый промежуток пути отдельную маленькую вечность.

Сначала все эти вечности, которые я проживал одну за другой, были полны только приятной истомой и абсолютным безмыслием, затем я стал проявлять интерес к своему состоянию. Я думал различные мысли, поднимал внутри себя разные темы и наблюдал за тем, как мой внутренний мир реагирует на них. И вот уже я потерял контроль над этим процессом и темы стали произвольно всплывать в моей голове, становясь все тревожней. Я чувствовал, что мое тело словно старинная люстра. Каждый нерв в нем звенит и бьется хрустальной каплей.

Сколько времени прошло с тех пор, как я принял проклятое снадобье? Сколько месяцев или лет я уже валялся на этом ковре, оставленный своими собеседниками, которые продолжили жить свою жизнь, как ни в чем не бывало, бросив меня здесь, нарожав детей и внуков, и спокойно забывшись сном в своих могилах? Знаю одно: в эту я начал эту затею почти молодым человеком, а закончу ее стариком. У меня уже тряслись колени и дрожали пальцы; на руках сморщилась кожа; шестидесятилетними мешочками обрюзгли щеки; слезились глаза.

Смерть…

Я подумал о своем поступке, о предательстве, о совершенном мной бегстве. Я вспомнил, как когда-то искренне считал, что люблю Гуми со всей доступной моей душе преданностью. Жалкий фигляришка! Я заставил пестрым колесом ходить по дурацкой арене свою любовь, заставил ее проделывать смертельные сальто-мортале под
брезентовым куполом. Я награждал ее звонкими и увесистыми пощечинами. Мазал ее картофельной мукой и дрянными румянами. На заднице нарисовал сердце, истекающее кровью. Наряжал в разноцветные штанины. Она звенела бубенчиками и строила рожи, такие безобразные, что даже у самых наивных вместо смеха вызывала отвращение. А что вышло? Заброшенная безумьем в небо, она повисла
там желтым комком огня и не пожелала упасть на землю.

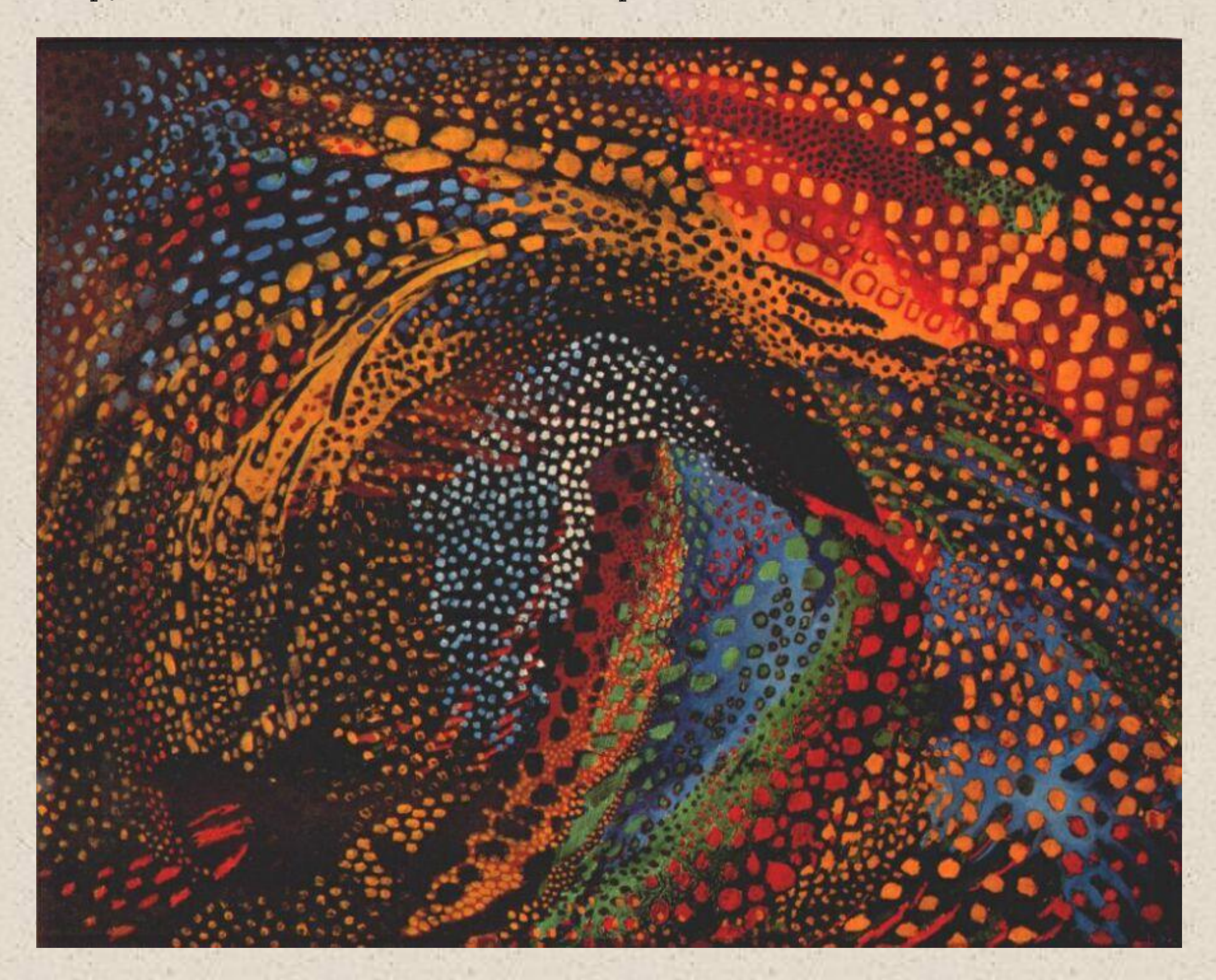
Кажется, преданый мной Гуми, драгоценный, несчастный, обездоленный Гуми, такой беззащитный и слабый перед неистовой стихией мира, пришел ко мне молить меня о возвращении, он пришел даровать мне свое святое прощение, но я был уже безотчетливо мертв, и Гуми лицезрел лишь мое бездыханное тело, распластанное в доме коварного дедьязмача.

- Что за ерунда!

Когда проклятый облик Гуми, тщетно взывавший ко мне, сгинул, я затрясся в мелком смехе.

- Какой зловредный безмозглик сказал, что существует смерть! Хотел бы я видеть этого паршивца. Хорошеньким бы щелчком по носу я его угостил. Клянусь бабушкой! Честное слово, я в здравом уме и твердой памяти. Доказательств? Извольте: родился в тысяча восемьсот девяностом году, именинник пятнадцатого июля по старому стилю, бабушку звали Пульхерией. А все-таки смерть не существует!

Горячая сверкающая струя вонзилась в землю у меня на глазах, все вокруг плыло и дышало, но я не обращал на это никакого внимания.



- Пушкины, Шекспиры, Ньютоны, Бонапарты, Иваны Ивановичи и Марьи Петровны, впрочем, умирают. Я сам читал на Ваганьковке: "Под сим крестом покоится тело раба твоего Кривопупникова". Совершенно неоспоримо, что Николай Васильевич Гоголь "приказал кланяться". Иначе бы ему не поставили памятника. Подумаешь, тоже важность - "Мертвые души"! Дворник с нашего двора - старый Федотыч, разумеется, протянет ноги. Но при чем же тут я? Че-пу-ха! Свое бессмертие я ощущал не менее правдиво, чем сапоги на своих ногах. Свою вечную жизнь я видел столь же ясно, как потолок. И речь шла не о чем-то таинственном, вроде витанья души в надзвездных пространствах или о переселении ее в черного кота. Ничего подобного. Я просто понимал, что буду из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты, ходить в баню, страдать

запорами, читать Овидия и засыпать в театре. Если бы в одну из пылинок мгновения я поверил, что будет иначе, разве мог бы я как ни в чем не бывало жить дальше?.. Есть? Пить? Спать? Двигаться? Стоять на месте? А вы? Вы, любезнейший Иван Иванович? Когда вы, Иван Иванович, сантиментально вздыхаете: "Ах, я чувствую приближение смерти", что это: пустое, выпотрошенное, ничего не значащее слово? Или - нечто - вы ощущаете так же правдиво, как я сапоги на своих ногах? Смерть! Понимаете - смерть? Вот вы, милейший Иван Иванович, -- старший бухгалтер и... труп. На вас, на Ивана Ивановича - старшего бухгалтера, а не на Ивана Петровича - младшего бухгалтера, натягивают коленкоровый саван. У вас на веках лежат медные пятаки. Вы смердите. Вас запихивают в гроб. Кидают в яму. Вас жрут черви. Чувствуете? Врете, гражданин. Нагло врете. Ничего вы не чувствуете. Ни-че-го. Ровнехонько. Иначе бы вы, Иван Иванович, сидели сейчас не за бухгалтерской конторкой, а на Канатчиковой даче. Кусали бы каменные стены и животным криком разбивали тусклые стекла, зашитые железными прутьями. Если бы вы, Иван Иванович, увидели свою смерть так же ясно, как я вижу узоры арабские узоры ковров, вы бы, гражданин, в ту же секунду собственными ногтями выдрали бы - с кровью и мясом - свои увидевшие глаза...

Я пришел в себя... а, может быть, и не пришел... спустя пять дней и не поверил, что этот жалкий срок мог вместить в себя те тысячи жизней, что я прожил, валяясь на подушках в доме дедьязмача. Сухо поблагодарив улыбчивого Тафари за заботу, я отправился обратно в Джибути и отплыл обратно на Родину.

Пишу КЛЮЧ «Умфолози(169)» и иду на 104.

§296. +++

§297.

Я вкрадчиво объяснил Есенину, что его впечатление о моих успехах среди лефовцев сильно преувеличено, и мы разговорились о творческих успехах, с которых Сережа перескочил на свое крестьянское происхождение. Едва я убедил Есенина в своем бессилии по его сближению с левым фронтом поэзии, и он забыл о стремлении брататься с Маяковским, как в нем вспыхнула другая страсть - вернуться в родное село Константиново, где на пороге рубленой избы с резными рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил.

- Братцы! Родные! - говорил Есенин мне и моему другу, единственному и самому преданному, - соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы четыре. Ну? Давайте! А? Я вас познакомлю с

моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаюсь да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен...

Он не замечал наших возражений, что, мол, как же это так вдруг, ни с того ни с сего ехать в Рязань?.. А вещи? А деньги? А то да се? Есенин ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости: коли чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала. Вынь да положь!

Деньги на билеты туда, если скинуться, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Ну, это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает. Почтет за честь. Поедем на немазаной телеге по лесам, по полям, по березнячку, по родной рязанской земле!.. С шиком въедем в Константинове! А уж там не сомневайтесь. Моя старушка примет вас как родных. Драчен напечет. Самогону выставит на радостях. А назад как? Да очень просто: тут же я ударю телеграмму Воронскому в "Красную новь". Он мне сейчас же вышлет аванс.За это я вам ручаюсь! Ну, братцы, поехали! Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова, что мы с другом заколебались, потеряв всякое представление о действительности.

Было ли во мне достаточно авантюрной жилки, что бы поддержать Есенина в его смелом начинании, бросить все и уехать в Рязань - 290 или же был стоек и не поддавался на его сумасбродные уговоры? - 273

§298.

Теперь я с улыбкой вспоминаю то барьерное настроение парижского кабаре, с которого началась эта повесть. Мне действительно казалось, что вся моя жизнь могла поместиться в строчки стиха, составленного на потеху голодной эмигрантской публики. И, конечно, из этой затеи не вышло ничего путного. «Исписался, не смог, потух» - твердили они. Сейчас, через пятьдесят лет, когда мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками внутри длинной серебристой сигары пассажирского авиалайнера, я думаю с теплотой о тех фразах. Они свидетельствовали о моем отпущении, о выходе из этой эпохи, что породила нас всех, но тогда я еще не мог различить этого свидетельства. Мы располагались в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное «О», которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий, принадлежавших людям того времени. Те люди навсегда остались в своем временном промежутке, выразив собственным существованием полное соответствие эпохе, полностью исчерпав его - и вместе с ним и самих себя. Я не мог

представить сидящим сейчас рядом с собой в кресле ни Гумилева, ни друга, единственного и самого преданного, ни хлыща Коняшевича. Все они были неразлучно слиты со своим веком и навсегда остались в нем.

А я выпал из него, оказался за рамками – и, может быть, только благодаря этому находился сейчас здесь и писал эти строки. Конечно, я не могу обделить своего читателя и не сказать, как же оканчивалось то судьбоносное стихотворение. Его последняя строка была:

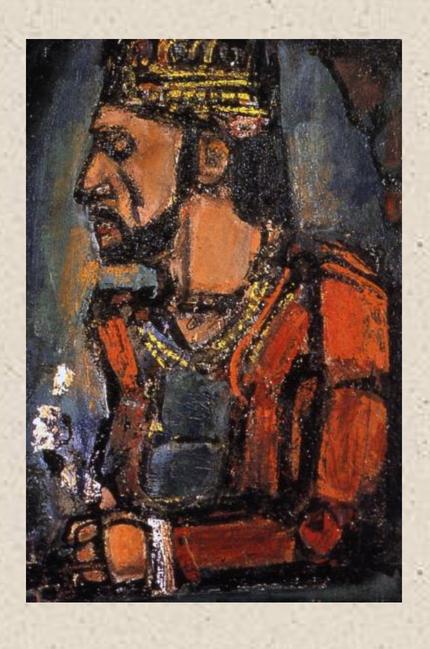
«Моей страной мне брошенные в гроб!» (успех для акмеиста, для остальных пасьянс не сошелся)

но это было слабое окончание, лишенное пророческой силы фатума, и потому оно не зажгло прихотливую публику, голодную до трагедий. Впрочем, какое это имеет значение теперь, ведь жизнь продолжается. Mors sua, vita nostra.

§299.

На этот раз наша встреча с дедьязмачем была обставлена более непринужденно. Мы расположились в крохотной комнатке с устланным подушками полом, занавешенными коврами стенами, в центре которой дымился высокий роскошный кальян.

Я знал, что дедьязмач Тафари мягок, лишен восточного коварства и прямолинеен, и потому без опаски остался в его доме. Сейчас, спустя годы, не верится что именно этот робкий и ранимый человек назван теперь императором Эфиопии Хайле Селассие Первым, возглавляет борьбу против европейских захватчиков и почитается последователями религии растафарианства как земное воплощение их бога Джа.



А в то время порядок в Харраре держался исключительно на вице-губернаторе фитаурари Габре, старом сановнике школы Бальчи, опытном интригане и руководителе. Этот охотно раздавал по двадцать, тридцать жирафов, то есть ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешал подчас, но очень редко.

Кроме Тафари в комнате присутствовали еще несколько местных сановников. Завязалась непринужденная вежливая беседа на светские темы – о политике, текущих делах и нравах. Когда разговор перекинулся на нашу экспедицию, и я поделился с присутствующими своими путевыми наблюдениями, дедьязмач проникновенно взглянул на меня и странно выразился, сказав, что он «курил меня» и у него есть важный разговор ко мне. Я высказал самое трепетное внимание к словом дедьязмача и тот продолжил:

- Твоя дорога и дорога твоего друга – это разные пути. Вы вместе, потому что у каждого из вас большая душа и каждый может позволить себе такую щедрость. Но вы слишком похожи и из-за этой схожести пожрете друг друга, как пауки в банке. Причем Никус окажется несоизмеримо сильнее, и его судьба поглотит твою.

- У тебя большое предназначение, поэт, - добавил Тафари. – Тебе дано словами менять души людей. Тебе нужно расстаться со своим спутником, и он не сможет пройти к своей цели по твоим костям. А он сделает это.

Я озадаченно молчал, не зная, что ответить на такое откровение. Слова дедьязмача доносились из другого, сказочного и дикого мира, с которым я мог соприкоснуться лишь отчасти, несмотря на то, что находился сейчас на земле, где жил этот совершено чужой мир. Сказанное Тафари никак не укладывалось в моей голове, и я мог бы счесть его сумасшедшим, если бы не серьезность и сосредоточенность лиц прочих собравшихся.

Дедьязмач истолковал мою растерянность как попытку придумать выход из обрисованной ситуации и предложил свою помощь:

- С вашего согласия я могу разлучить вас. Вы будете объявлены моим личных гостем и останетесь в моем доме на три седмицы. Ваш спутник вынужден будет проложить свой путь без вас, а вы, по истечению срока гостеприимства, отправитесь обратно в свою страну через Джибути. А что бы воля вашего спутника и терзания данных обязательств не вернули вас на губительный путь, я отправлю ваш дух в странствие через Умфолози.

Предложение дедьязмача всерьез попахивало тяжким предательством. Лишившись спутника-земляка, Гуми окажется в крайне тяжелой ситуации. Любые болезнь и несчастье могли оказаться фатальными в чужом диком краю, где не кому будет позаботиться о попавшем в беду путнике. Одинокое странствие вглубь континента больше похоже на безумную авантюру.

Но слова Тафари были проникновенны и впечатляющи, полны некой мистической тревоги и заставляли верить в себя… Что же касалось второй части плана дедьязмача, то под Умфолози местные понимали одно из мест расположения рая на земле – сказочный лес, населенный духами предков, затерянный на юге континента. Туда можно было добраться, совершив долгое и опасное путешествие через материк или же погрузившись в мистическое транс при помощи употребления одного из наркотических веществ, распространенных здесь. В данном случае Тафари явно подразумевал второй способ.

Готов ли я был ради гипотетического спасения своей жизни пойти на предательство друга и укрыться от мук совести в наркотическом бреду - 295 или же я, не взирая на тревожные слова Тафари, был готов идти с Гуми в огонь и воду? - 193

§300.

И вот Россия окончательно оформилась в молодое советское государство, с юношеской удалью ухватившее за горло власть в стране. Для меня настало время подвести итог – в каких отношениях я состоял с новой властью?

За каждую из ВЕХ: «неблагонадежный», «бунтарь», «пролетарий» и «красноармеец» я прибавляю единицу к показателю моей политической лояльности, а за каждую из ВЕХ «писарь», «белогвардеец», «монархист», «несознательный» и «контрреволюционер» я отнимаю единицу от получившегося числа.

Если в итоге получилось положительно число, иду на 247. Если получился ноль или отрицательное число, иду на 129.

CONCLUSIO

В качестве основы для мультистиха, который игрок формирует по ходу повествования, использовано стихотворение Игоря Северянина "Классические розы".

Другие стихи, процитированные в книге:

- Александр Блок "Девушка пела в церковном хоре..."
- Александр Блок "Митинг"
- Александр Блок «Улица, улица...»
- Александр Блок «Шли на приступ. Прямо в грудь…»
- Александр Вертинский "Кокаинетка"
- Александр Пушкин «Евгений Онегин»
- Александр Пушкин "На Каченовского"
- Александр Пушкин "Руслан и Людмила"
- Алексей Крученых "Весна с угощением"
- Анатолий Мариенгоф "Приду. Протяну ладони"

- Анна Ахматова “Заплаканная осень...”
- Анна Ахматова “Петербург в 1913 году”
- Анна Ахматова “Смятение”
- Афанасий Фет “На заре ты ее не буди”
- Борис Пастернак “Февраль. Достать чернил и плакать”
- Валерий Брюсов “Женщине”
- Велимир Хлебников “Бобэоби”
- Виктор Гофман “Меж лепестков”
- Владимир Маяковский “Гимн критику”
- Владимир Маяковский “Исчерпывающая картина весны”
- Владимир Маяковский “Кое-что о Петербурге”
- Владимир Маяковский “Люблю”
- Владимир Маяковский. «Чаеуправление»
- Владимир Маяковский “Уличное”
- Владимир Маяковский. Из книги “Я сам”
- Владимир Нарбут “Самоубийца”
- Владимир Пяст. Из отдела “Это ты”
- Давид Бурлюк “Плати - покинем навсегда...”
- Давид Бурлюк “Свидание”
- Иван Бунин “В открытом море”
- Игорь Северянин “Ананасы в шампанском”
- Иннокентий Анненский “Колокольчики”
- Иннокентий Анненский “У гроба”
- Иннокентий Анненский «Ego»
- Константин Бальмонт “Маленький султан”
- Максимилиан Волошин “Гражданская война”
- Максимилиан Волошин “Дождь”
- Максимилиан Волошин “Не успокоена в покое...”
- Марина Цветаева “В Париже”
- Марина Цветаева “Прохожий”
- Марина Цветаева “Тоска по Родине”
- Михаил Зенкевич “Мясные ряды”
- Михаил Кузмин “Глаз змеи, змеи извивы...”
- Нестор Кукольник “Попутная песня”
- Николай Гумилев “1905, 17 октября”
- Николай Гумилев “Блудный сын”
- Николай Гумилев “Жираф”
- Николай Гумилев “Памяти Анненского”
- Николай Туроверов “Перекоп”
- Петр Потемкин “Lapin agile”
- Петр Потемкин “Зеркала”
- Петр Потемкин “Парижанка”
- Петр Потемкин. Подпись под карикатурой на А. Блока.
- Саша Черный “Критику”
- Сергей Нельдихен “Искренность”
- Сергей Есенин “Сорокоуст”
- Сергей Есенин “Сыпь, гармоника. Скука”

В книге использованы фрагменты произведений:

- Александр Блок “Дневники”

- Анатолий Мариенгоф “Циники”
- Валентин Катаев “Алмазный мой венец”.
- Валентин Пикуль “Нечистая сила”
- Василий Шульгин “Дни”
- Владимир Маяковский. Предсмертная записка.
- Владимир Маяковский “Я сам”
- Воспоминания Бориса Райкова о Иннокентии Анненском.
- Иван Бунин “Окаянные дни”
- Иван Родионов “Жертвы вечернiя”
- Иван Шеин. Воспоминания
- Исаак Бабель “Конармия”
- Михаил Агеев “Роман с кокаином”
- Михаил Булгаков “Советская инвизиция”
- Михаил Зощенко “Перед восходом солнца”
- листока “Пощечина общественному вкусу”
- Неизданная книга стихов Петра Потемкина «Париж» с публикацией, подготовкой текста, вступительной заметкой и примечаниями Норы Букс и Игоря Лощилова.
- Николай Валентинов “Встречи с Лениным”
- Николай Гумилев “Африканский дневник”
- Роман Гуль “Я унес Россию. Апология русской эмиграции”
- сборник “Николай Гумилев в воспоминаниях современников”

При оформлении использованы картины художников:

Андрей Ромасюков
Владимир Бехтеев
Владимир Волегов
Владимир Маяковский
Вячеслав Калинин
Иван Клюн
Клод Моне
Константин Богаевский
Константин Коровин
Кузьма Петров-Водкин
Леонид Пастернак
Мстислав Добужинский
Петр Кончаловский
Светлана Валуева
Юрий Анненков